



Федор Метлицкий

Федор Метлицкий. Распад, роман

Федор Метлицкий

Федор Метлицкий. Распад, роман

«Автор»

2026

Метлицкий Ф. Ф.

Федор Метлицкий. Распад, роман / Ф. Ф. Метлицкий — «Автор», 2026

Это хроники недавней истории – времени "застоя" и драмы перестройки. Наивный провинциал, окончивший университет, создает общественную организацию с целью соединить бизнес, жаждущий прибыли, с нравственностью, работает над чудодейственным эликсиром, возвращающим детское доверие в людях. И в неразберихе перестройки сталкивается с растерянными людьми, внезапно оставленными на самих себя, бюрократами и рейдерами, лишаящими средств и поддержки. Жена отдаляется от него, когда умер ребенок, и он спасается в новой любви. Автор хотел строго придерживаться рамок данных лет, которые повествователь переживал тогда, высказываний подлинных деятелей, без оценки с высоты XXI века. Вымышлены или являются прототипами только главные персонажи.

© Метлицкий Ф. Ф., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть I	6
1. На родине	6
2. Фонд «Чистота»	21
3. Пределы близости	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Федор Метлицкий
Федор Метлицкий. Распад, роман

Ныне суд миру сему...
Иоан. 12:31

Часть I

1. На родине

*Слеп в окно — мое утро, начало,
словно жизни солнечный ток.
Что же было со мной, что же стало?
Как туманен болезни исток!
Я окрашу помню беспмятницу,
где лишь небо да море одно,
и касание босыми пятками
тротуара — скорее в кино!
В забыты безмятежном и пыльном
городок, что бывает лишь раз, —
не оно ль позволяет забыть нам
мир, историю и лагеря?
Вот и школа, проста, как и время,
в нем барак, красногалстучный пыл,
и любовь... Почему перед всеми
это робкое пламя гасил?
Вот и юность, такая отчаянная,
как отвергнутая любовь,
перед массовым одичанием
так хотела остаться собой!*

И вот, он летит на родину, в город детства, чтобы понять, что делать дальше. В его глазах мир качался, грозя обрушиться в бездну, где нет никакой опоры. Потерял душевное настрое-ние, что хранилось в нем со времени, когда был среди защитников Белого дома от ГКЧП. Но его занятость делами уравновешивала его состояние до относительного спокойствия.

В таких случаях лучше всего припасть к истокам. Там совсем другие люди, открытые и доверчивые, они помогут справиться с его бедой.

В самолете, с Павлом, члены Совета Фонда «Чистота» — кражистый Александр Ильич, и институтский друг Аркадий, с широким лицом сибиряка, светящимся бодростью, сзади две значительно молчаливые профессорши из научной секции. Вылетели в командировку — в представительство Фонда на краю земли, где легче воспримут проект Павла по собира-нию «чистого» предпринимательства, с тайным замыслом нравственного очищения общества. Рядом депутат Думы Олег Николаевич — друг молодости, худощавый, с постоянной наглой ухмылкой. У него в приморском городе дела. Это кстати, он мог помочь.

Александр Ильич, Саша, по прозвищу Сократ из-за его большой лысой головы, бородки и круглого пивного живота, организовал вместе с его некрасивой шустрой женой-биологом и толстыми взрослыми детьми продажу в сети аптек, в том числе местной, биологически актив-ной добавки — омолаживающего эликсира со скромным, тогда еще новым названием «Вита».

Когда-то в институте он, кандидат наук работал со своей группой ученых, окрыленных одним порывом на пороге открытия, над некоей плесенью — мицелием гриба, существующей на грани живого и неживого. Обнаружили побочный эффект, сулящий оздоровление клеток живого организма. Гриб обладал свойством омолаживать организм.

Испытания показали небывалый эффект — у подопытной группы изменялся генотип, словно возвращалось первоначальное детское доверие к окружающему миру.

Это могло быть спасением, о котором Сократ, озабоченный содержанием бедствующей семьи после развала его института, и никто, кроме него, Павла, не догадывался. Здесь раскрывалась вся его мечта о чистых отношениях между его соратниками и конкурентами, близости с миром, что ощущал в детстве, глядя с утеса на безграничный океан! Как тогда ему казалось, могла быть решена проблема омоложения и возврата к детскому доверию в людях, прыжок через психологические преграды и тонкости, мешающие сближению людей в нашем диком капитализме. Павел всегда знал, что набредет на исцеляющий эликсир доверия и близости людей.

Во время провала экономики то чистое чувство пришлось отодвинуть в сторону. О получении патента как лекарственного средства нечего было и думать — замотают испытания препарата, да и где на это огромные деньги? И тогда при Фонде «Чистота» создали фирму «Вита», назначив руководителем Сократа, добыли сертификат на препарат как на натуральную биологически активную добавку, и готовились к запуску в производство. Как и на что — мрачная тайна, предпочитали не говорить. Во всяком случае, депутат Олег выбивал под эту программу инвестиции, рассчитывая на большие прибыли.

Тогда Павел и начал работать над инвестиционной программой по эликсиру, депутат Олег Николаевич устраивал контракт, с гарантией Правительства. Павел просиживал за компьютером допоздна.

К нему с Олегом подсел сотрудник Фонда Печенев. У того густая шевелюра, покатый лоб и скуластое лицо. Уставился невыразительно-хмельным опасным взглядом. От него несло перегаром — полет испорчен. А у Павла итак постоянное состояние дискомфорта.

У Печенева нет никаких тревог, уверен, что покорит простор впереди, куда летят, и будет обладать им.

С ним Павел познакомился в молодости, в институте, на почве поэзии — тот писал мрачные стихи. Это был упертый целеустремленный парень, уверенный, что преодолеет сопротивление среды. Открыто враждебно смотрел на подругу Павла, будущую жену, тоже студентку, и она с недоумением — на него.

— Она тебя охмурить хочет. Я их насквозь вижу. Лишь бы завладеть. Хищницы.

Она молча увела его.

В поисках себя подлинного Павел решил «уйти в народ», и своим планом познания жизни поделился с ним. Тот сразу и молча кивнул, словно это само собой разумелось. Они перевелись на год на заочное отделение. На факе гудели: Печенев всему заводи́ла, это все он! Денег не было, и решили познавать теплые места. Продали свои пальто (дело было зимой) и, бегая по морозу вприпрыжку, купили билеты на юг. Там, в тепле, они назвались плотниками шестого разряда, устроились на стройку, где им предложили вырубать топориче. В результате три месяца привычно бегали за водкой и папиросами. А позже решили познать провинциальную глубинку, в каком-то поселке поселились у хозяйки с дочкой. В их темной комнатке Павел неумоимо штудировал учебники по составленной им программе гармонического развития, не успевая по срокам, так как в ней не предусматривался сон. Печенев тоже вгрызался в книги по плану Павла, обернув голову мокрым полотенцем. Хозяйка относилась к ним с почтением. Не лоботрясы, учатся.

Все, с кем Павел соприкасался когда-то, сидят в нем родственным теплым пятном памяти, биографии. Печенева он принял по просьбе Олега как старого приятеля, не просмотрев внимательно документы. На носу — выставка в Центральном выставочном комплексе. Сделал его ведущим специалистом — назначал на хорошие должности, не жалко, лишь бы помо-

гало делу. Павлу казалось, что будут больше ценить себя и его, да и при малом коллективе и его занятости этого можно посылать на переговоры к высоким чиновникам.

Жена испугалась. «Как ты мог его взять? Не проверив даже трудовую книжку! Не позволив на его предыдущую работу?» «Я же знаю его со студенчества!» «Да, два раза встретил, и уже друг молодости. Теплые воспоминания!» «Мне нужен волевой человек, знающий бизнес».

Печенев обнялся с коротко гоготнувшим Олегом, они хорошо знакомы. Вытащил бутылку с наклейкой на непонятном языке.

— Вот... бутылка рома. Прошу.

И расставил на столике бумажные стаканчики.

— Сто чертей и бутылка рому! — зло сказал Павел. — Давай.

Он, обычно прячущий себя настоящего, перешел в стадию освобождения, рискованную для окружающих. Через десять минут он обнимался с Печеневым, они пели песни под недвольные возгласы профессорш, а на промежуточной посадке в Чите увязались за хорошенькой стюардессой, пили и задержали самолет. Короче, изображали разгул деловых людей, освобожденных от обязательств.

Зудит самолет, освещенный ярким небесным светом. Павел разглядывал низкие сопки, густо покрытые тайгой. Там всегда была загадка, которую не отгадает никогда. Ах, вот она, Восточная Сибирь — сплошные блюдца вод — озер железистых, но эта, не годна для жизни ширь, таит для небывалой рыбы нересты. Внизу — дальневосточная тайга. Так вот откуда жизнь моя огромная явилась, чтоб раскрыться наугад, всем счастьем, всем распахом силы пробуя.

Внизу мириадами серебряных черточек-домов проплывали города, возвращая его к себе. Как долго бродил, подобно лимитчику, вдали от родины!

Прилетели, спяну вдохнули необычный воздух, пахнувший чем-то близким, провинциально родным, и старый дребезжащий автобус повез кривым шоссе меж низеньких гор, вызывая тошноту. Павел воображал приморский городок, который сейчас увидит.

На окраине, в низине, защищенной от постоянных ветров, знакомый вид, ему чудится, что там бывал в раннем детстве. Там особый микроклимат, раньше был санаторий для туберкулезных, а сейчас, как ему сказали, дачи губернатора и администрации города.

Качаясь в автобусе, вспоминал почему-то печальное в его детстве.

* * *

Родители и он с сестрой жили на краю света, не ведая иного бытия. Партийно-«зэковский» новострой — портовый городок вдоль залива с неуютным продуваемым проспектом, ведущим к центру с неизменным классическим, из белого мрамора, зданием власти, суровая простота лишь необходимого: магазины с табличками «Продукты», «Хлеб», «Промтовары» и т. п., малоэтажные блочные дома с черными смолистыми полосами стыков, некрашенные и облезлые, его деревянная школа-барак, теплая зимой, на окраине города у залива порт и непонятный рабочий район, где пьют, дерутся и убивают. И постоянные стройки, застраивания, достраивания, котлованы, траншеи. Сколько себя помнил — жил среди визжания пил, груд земли, в состоянии недостроенности. Так и померет, не дождавшись результата, — думал он...

Здесь аборигены жили в вечности у океана, их кругозор был ограничен убогими сведениями из советских газет. Сплошного подчинения тоталитаризму не было, люди блюли ритуал, но внутренне были свободны. Дети, на краю земли, не восприняли культа личности, как все естественное, не принимающее никакого давления.

Выплыло застрявшее в нем навсегда до охлаждающего ужаса: побоище «наших» с ремзавода и амнистированных «зэков», привезенных в трюмах парохода в порт.

*Я вспоминаю: уже в начале
Надлом в душе, где холод повис.
В портовом городе синие дали —
Призыв — не в ту, что я прожил, жизнь.
Была амнистия. С парохода
Из темных трюмов лились «зэка».
Не стало в городе вдруг прохода —
Ах, уголовный голодный оскал!
А наши, дружные, с ремзавода,
За железяки тоже взялись.
Фанаты били, резали с ходу,
А те, тверезые, злобу жгли.
Вдруг — автоматчики на фургонах!
Тупую силой — свинцом по врагу.
Закон незыблем — и уж в загонах
Рабы зализывали свой разгул.
Мы, дети ледового света челюскинцев,
Сновали меж штабелями в порту, —
Лежал там кто-то в рванье, без челюсти,
Засиневающий, икал в поту!
А мы в жестоком страхе глазели,
И не жалели мы чужака.
То отчужденье, что в нас засело,
Казалось, в жизнь вошло на века.*

Наверное, из-за этой травмы на него иногда находит непонятный ужас, близко — у сердца! Сминающий естественные чувства. Странное свойство, ставшее болезнью: не умел владеть собой в зависимом положении. То есть, открыт и искренен, но не мог это применить — опасно открываться, вызывать недоумение, не поймут все, от кого приходится зависеть. Повиновался общепринятому, хотя не мог этого выносить. Что внушило мысль, что быть тем, что он есть, — значит поставить себя вне людей? Что быть самим собой — преступление? Что-то внутри дико стыдится его нелепости, наверно, это и есть муки совести. Может быть, в роду были юридические? Или носил в себе изначальную вину человека своего времени. Он как бы исторический продукт насилий эпохи. Хотя ему не приходило в голову винить кого-то, кроме себя. В нем не было ощущения мира, жил в облаке своих несмелых порочных побуждений и predetermined вины.

Видимо, это повлияло на него, когда он впервые влюбился. Это была девчонка из параллельного класса, с большими очами, загадочно глядящими из темных, как от загара, глазных впадин, что необъяснимо привлекало. Он охотился за ней, чтобы смотреть украдкой. Так было полгода, и она, видимо, пугалась его, и тоже пряталась. Однажды, по совету приятеля, решился подойти, и с мукой сказал:

— Пойдем гулять.

Она испуганно глянула своими темными очами.

Он повернулся и пошел.

С тех пор она старалась не обращать на него внимания, гуляла с другим.

Куда делась смелость его чистоты? Это была унижительная зависимость. Потеря личности. Его стыдная любовь спряталась куда-то глубоко. Открыл, что никогда не сможет быть самим собой.

Становился нормальным, только вырвавшись из ужаса несвободы, зависимости. Когда взбирался на гору, над сияющим светом залива, где не надо прятать себя. Там открывался вид, как на многоярусных японских свитках. Наверно, в нем зачаток живущей там, рядом, за морем, древней восточной традиции ухода в одиночество гор, деревьев и воды. Маленькие робкие цветочки багульника на хилых прутиках представлялись сиреневыми вспышками в неясное исцеление, а тонкий запах — забытой родиной.

И с друзьями во дворе Павлик не ощущал зависимости, они были свободны. Играя, надевал отцовскую фуражку с зеленым околышем, просовывал руку за борт пиджака и говорил, подражая сталинской речи из граммофонной пластинки: «Ны богу свэчка, ны черту кочерга!» За это отец нещадно его выпорол. С тех пор панически боялся отцовского ремня.

И еще — книги! Читал он запоем. Провинциальное воспитание и образование ничем не отличалось от других, даже столичного. Тоталитаризм был благотворным — создал одинаковое обеспечение духовного уровня и в центре, и в провинции. Вырос в доступной книжной среде классической литературы, не встречая ничего похожего в реальной жизни. Видит себя читающим у шкафа богатой отцовской библиотеки, несмотря на край земли. Инопланетный мир «Витязя в тигровой шкуре»... Сказочная родина «Малахитовой шкатулки» с волшебными цветными вкладками-картинками, переложенными прозрачной бумагой... Рассказы Чехова сами собой заучивались наизусть. Даже пытался осилить откопанные на чердаке старые слежавшиеся философские книги. И понимал! — правда, в голове остались фантастические представления.

Павлик глотал книги, не пытаясь осмыслить их идеи. Как будто и не читал ничего. И только взрослым, перечитывая все заново, стал понимать смысл прочитанного. Ему, страшно далекому от народа, казалось, что там настоящая свобода. Аура классиков вошла в него, как что-то вездесущее. В них затрагивало душу что-то вечно важное вне череды эпох. Не выбьешь никаким постмодернизмом, хотя уже не могут удовлетворить.

Завел тетрадь-дневник, на обложке начертал эпитафию: «Я каждый день/ Бессмертным сделать бы хотел, как тень/ Великого героя, и понять/ Я не могу, что значит отдыхать. М. Ю. Лермонтов». Может быть, такими рождаются люди, кому всегда что-то надо. Пассионарии. Его отличие от великого поэта — тот бросился в бездну, где «надежд разбитых груз лежит», и восстал, как страдающий демон, а Павлик спрятал свои разбитые надежды, боясь, что узнают. Тем более, у него уже скопился маленький груз любви и разбитых надежд. Хотя как сказать, маленький ли это груз? Любовь или отверженность не имеют возраста. Первую страницу начал поразившими ритмическими строчками: «Сегодня первую тетрадь/ Я собираюсь начинать». В них было ожидание чего-то необычного. Дальше не знал, о чем писать.

С тех пор не расставался с дневником, описывал в нем свои странные озарения. Они не казались чем-то настоящим, потому что были в стороне от реальности. Внешние события, высказывания авторитетов записывал как есть, как что-то важное, не считая, что его отношение что-то значит, да и было ли оно? Только тенденция, тень — поиска себя настоящего. Потом читать ранние дневники было скучно.

И вот, когда автобус забрался на сопку, открылось море, сияя — прямо в душу — чудом, бухта в зеленых пятнах подводных водорослей, очерчивая полукругом город. И снова нахлынули воспоминания.....

Пахнувший морскими водорослями берег моря, на песке удивительные вещи, принесенные морем, волшебные зеленоватые стеклянные шары (узнал после — поплавки для сетей), остов парохода с высоко поднятым над водой носом, напорившийся на подводную скалу. А ночью,

в теплой тьме плещущего моря, прерывающийся рокот двигателя невидимого катера. И — огромный страшноватый причал в контейнерах и ящиках, трюмы пароходов с рыбными консервами и трюмными крысами, где они, дети, подрабатывали. До сих пор банки с надписью «Сайра» вызывают ностальгические воспоминания того голодного времени.

Вот всем классом качаются на катере, пахнущем смолой морских просторов, на грани тошноты, плывут к каким-то дальним берегам. Такие чувства, наверно, владели Робинзоном: выгрузились у незнакомой заводи — бухты Буян, рассыпались по берегу, подбирая цветные камешки.

И вдруг за бухтой открылись утесы — три высоких каменных столба. На их вершинах колыхались высокие травы, над ними кружили одинокие чайки. Что-то в утесах тихое и пустынное, безграничное одиночество свободы.

С тех пор, когда шепчет это слово: утесы, уу-те-сы-и, возникает необъяснимое, самое высокое чувство, где прячется разгадка его исцеления.

Что это за печаль, выросшая в заброшенном крае земли, не позволявшем увидеть то, что за его горизонтом? Печаль о родине — странное человеческое чувство, для одних воспоминание забытого эпизода длинной жизни, для других — оставшийся на всю жизнь ориентир чистоты. Бывает чувство, похожее на общую потребность сохранить родину, то есть свой покой в ней и гнев к вкрадчиво окружающему врагу, и есть детское чистое чувство счастливого края, который никогда не вернется, но пребудет вечно. Гениальность, которая всегда отдельна и единична, но мерцает в душе каждого как несбыточная мечта. Сохранить родину — это сохранить искренность души, близкое, — самое ценное в жестоком мире. Здесь — граница между людьми.

Сколько написано стихов и прозы о чуде детства, малой родины, все они в новом времени становятся никому не нужными личными чувствами. К чему чистота, если не применима? Всегда актуально не одинокое сияние прошлого, а мощный толчок в полуденный свет открытый, поднимающий в бессмертие все новые и новые творческие волны, чувство общего пути в неизведанную вселенную. Преодоление потерь, смерти.

Печаль Павла была той, что не открывала выхода.

Его детская болезнь ушла внутрь в голодные послевоенные годы, когда, семьей, уехали на Кавказ. Отец захотел воплотить мечту — увидеть некий город Ленкорань, поесть яблочек, пожить в раю. Это было его Эльдорадо. Помнит, как под ярким небом с багровыми полосами облаков, испуганный и беззащитный, шел по виспячему мосту над темной бездной. Может быть, это приснилось?

В нем всегда жила бездомность вокзалов детства. Здравствуй, гулкий вокзал, откуда здесь запахи угля, с детства бездомного мне открывавшие мир?

Огромные послевоенные залы, пахнущие мешками и нищетой, доносящийся с неба громоносный голос из серебряных репродукторов, странные молочные шары светильников под потолком. Из какой страшной жизни убежали эти укутанные платками мешочники? Где был тот рай, которого искали и они?

Доехали лишь до какого-то села в Чечне. Там пошел в школу, и в классе из сорока учеников один написал диктант без ошибок.

Это был голод, пахнущий черемшой, которую собирали, жарили и ели. Черемша выходила длинными червями, которые надо было отрывать из зада. Собирали дикие груши, алычу в горах. Помнит, набрали на поле овса, крутили через крупорушку — трубу с ручкой, надетую на конусообразную болванку с нарезками. Он наелся овсяной муки с шелухой, и не мог разрешиться пять дней, корчась от боли в животе.

Не вовремя рожденный ребенок — братик все время кричал от голода — молока у матери не было. Потом он узнал, что отец в отчаянии задушил его подушкой.

Сестра Светлана заболела скарлатиной, ее увезли в больницу. Через три дня приехал отец, мокрый, в брезентовке с капюшоном, опустил голову на руки.

— Нет больше нашего Светика.

Иногда Павлу представляется неясный образ маленькой сестры, в спокойном тумане обреченности.

Тогда же он убежал в город, и от голода, и — скорее узнать, что там. Ночевал под тротуаром, а днем пытался что-нибудь украсть, чтобы поесть. Его поймали, когда на базаре схватил пирожок и сразу сунул в рот. И отправили в детский дом. Никогда не забудет, в вагоне по пути в детдом, вкус теплого лаваша, с выпуклостями от воздуха внутри, кусок которого ему оторвали.

В большой комнате детдома было очень много двухъярусных коек, и какой-то скелетик с неандертальскими надбровьями беспрерывно плакал:

— Исты хочу! Исты хочу!

Может быть, это был маленький Печенев.

Было голодно, и пацаны совершали набеги на кукурузные поля, объедались сырыми зернами, в страхе, не скачет ли всегда злой объездчик.

Однажды толстая воспитательница в гневе раздела догола одного из них и выгнала на улицу. Через некоторое время вошел директор детдома — высокий худющий офицер-инвалид, из своей широкой шинели выпростал голого мальчика. Лицо у него было такое, что воспитательница завизжала и выскочила вон. Теперь Павел понимает: причем тоталитаризм? Спасала самоорганизация людей для выживания, и человеческая совесть.

Потом пришла директор школы, маленькая хрупкая осетинка, похожая на крошку Цахес. Решила его усыновить, как самого симпатичного и умненького. Он подумал, и написал домой письмо.

Сразу приехала мать, и семья снова соединилась. Осиротевшие, с бедным скарбом, вернулись обратно, в приморский город на Дальнем Востоке. Наверно, оттуда его мелкие привычки, нервирующие жену — подбирать с тарелки дочиста. Видно, и вправду у него психология блокадника.

Павел видел события жизни уникальными, не зная, как не помнящий родства, что такие кризисы повторяются в истории. И никто не ощущал всеобщего бедствия, потому что это было нормальным.

Не видел родителей с тех пор, как окончил школу и поступил в столичный институт. Приехал на родину, чтобы увидеть больную мать. Отец, отставной военный, в кителе, постарел и обмяк, на глазах его постоянные слезы. Заплакал, обнажая редкие желтые зубы и металлические мосты.

Мать умирала при сыне. На похоронах не испытывал особых чувств — душа его была убита. Бедная мать, всю жизнь старалась, чтобы семья выжила, таскала тяжести, и вот... Сделал вид, что поцеловал ее, бросил горсть земли на гроб в яме могилы, и... что-то с ним случилось. Убежав в кусты, безудержно рыдал и бился в конвульсиях, его держали, но он пытался вырваться и убежать. Скоро все прошло — не понимал, что с ним было — и больше никогда не повторилось.

После похорон матери купался в быстрой мелкой речке с каменистым дном, а отец смотрел с берега на взрослого обнаженного сына странным взглядом. Что у него творилось в душе? Павел еще не знал, что сам испытает то же.

Теперь в заботах почти забыл ушедших родных, и кроме жены, у него никого нет. Да и той не мог помочь. Неужели любовью нельзя растопить горе матери, потерявшей ребенка? Нет, не надо думать об этом, слишком больно.

* * *

Здесь, в краевом центре, видна бурная жизнь, словно она вырвалась из клетки и без разбору ринулась осваивать пространства. Прямые улицы сплошь в магазинах: «Триумф», «Приветах», «Надеждах», «Кузькин и Ко», и — Приморская набережная, полукружьем вдоль залива, в супермаркетах с огромными яркими рекламными щитами — филиалах столичных торговых сетей. Похоже на необъятный балкон новостройки с подвешенным разноцветным бельем. Это бурное многоцветье странно сочетается с оставшимися приметам сурового оптимизма и жесткости города сталинской постройки: самой необходимой для жизни инфраструктурой, чадящими металлургическим, цинковым и лакокрасочным заводами, огромным портом, с теми же драками и убийствами в рабочих кварталах, куда страшно заходить. И над городом еще непривычно плывет звон колоколов единственной открывшейся живой церкви.

Школы-барака, где учился Павел, конечно, не было, ее давно снесли.

Когда-то, в поисках себя подлинного, он появился здесь, чтобы найти временную работу, зашел в редакцию молодежной газеты «Заря Востока» и, озябший, положил ладони на теплую поверхность печи в углу, выдающейся черным полукужьем из стены, предложил написать стишки.

— Если вы стишки пишете вместо стихов, то это не к нам, — сказала бойкая круглолицая заместитель главного редактора. Но дала письмо рабкора про отдельные недостатки — сделать из нее сатирическую заметку. Павел, сам удивленный этой способностью в нем, написал смешной фельетон, который был напечатан под именем того рабкора. И был принят корреспондентом газеты.

Жить было негде, и дружелюбный литсотрудник Олег предложил ночевать у него. Это оказался щелистый сарайчик на горе, у телевизионной вышки. Спали они под одной дохой из облезлой овчины. Тогда не было геев, это не приходило в голову.

Павел показал ему первую заметку — разговор о рыбных делах в Дальрыбстрое.

— Ты что! — сказал Олег своим веселым сиплым голосом. — Это же докладная записка. Вот как надо.

И сразу написал сценку. Как Павел сидит на бочке из-под сельди и ведет оживленный диалог с рабочими.

— Но я не сидел на бочке! И не было такого разговора.

— Но эта женщина из Калькутты! — передразнил, внезапно гоготнув, Олег, намекая на рассказ Томаса Вулфа о молодом авторе, не умеющем оторваться от природы. — Зато живо. И твои проценты выполнения плана ввернем в уста пьянчуги-рабочего. Так убедительнее.

Великое счастье — иметь Наставника! До сих пор у Павла его не было. Не думал, что можно так. И вообще был настроен обличать, бичевать, вытаскивать на свет всех негодяев, и своих обидчиков, открыто и безнаказанно действующих, — посредством журналистики и художественного слова, то есть широкой огласки, с точными именами и адресами. Чтобы все их раскусили и презирали. Указывали пальцем. Это был единственный эффективный способ борьбы с недостатками.

Заметку напечатали под его фамилией.

Олежек был худой парень с веселыми глазами и острым тонким носом, с постоянной ухмылкой на лице, смех у него странный — какой-то внезапный краткий гогот. Принципов у него не было, и вся его корреспондентская работа была вдохновенным враньем, вернее, игрой, вымыслом бойкого пера. Любил рисковать, всегда плясал на грани добра и зла, видимо, в наслаждении риском, и страхом, что побьют.

Он делал фотографии к своим корреспонденциям собственным методом: лица тружеников поворачивал вверх, а за ними должна была быть техника, корабли, или инвентарь, и небо. Подбегал с аппаратом к какой-нибудь колхознице, та испуганно убегала от него, увязая в грязи сапогами, он отлавливал ее, поднимал ее подбородок к небу и снимал.

Они жили энергично и весело, бегали в кафе, выискивали красивых девиц, по вечерам, гордясь, пили с ними в редакции на мягком кожаном диване. Любили женщин, словно в них было спасение. Это единственно подлинное, разрешенное, куда можно было уйти и оттянуться. В Пустоте будущего угадывалось женское начало возможностей, отличное от predeterminedного одиночества мужских отдельностей.

Но отнюдь не искали в них высоких моральных качеств. Разговаривали не как с собеседницами, хотя делали вид, что ничего не происходит. В постоянном удивлении противоположным существом, ощущали их тела, пусть они навсегда будут чужими, в чужих объятиях, и они это ощущают, что я никогда не буду с ними.

Тогда Павел носил в себе средоточие безответственных мужских желаний, сметающих любые препятствия, комкающих любые нравственные принципы. Постоянно был полон сексуальной энергии (возможно, избыток тестостерона). И никогда бы не признался в этом безумии. Это не зависимо от разума, не поддавалось осмыслению. И от этого постоянная тайная безысходность. Павел стыдливо прятал свои желания, как что-то преступное. Во всяком случае, по нему не было видно. Откуда у не помнящего родства христианская стыдливость? Один он такой, или все мы, мужские особи, не можем до конца признаться в этом?

Эротизм присущ жизни. При виде женщины мужчина автоматически настраивается на нее, приравнивая, подгоняя под себя. Возможно, прав Фрейд, построивший свое учение на либидо — энергии любви. Это не так узко, как считал Набоков.

Олежек обхаживал их дерзко, а Павел не подавал вида. Те краткие наслаждения с девицами — моменты слияния тел и душ — на самом деле не давали ничего, словно дурная бесконечность, спасающаяся тем, что каждое краткое наслаждение — всегда первозданно, всегда заново. Жили вместе со своим народом: не было заразного заболевания (кроме сифилиса и СПИДа, тогда их не упоминали, наверно, не было), чего некоторые из его молодежной редакции не подхватили бы в его гуще.

В страстном желании, рыская по улицам, он встретился с некрасивой смущавшейся жердью-студенткой, которая почему-то прижимала колени. Зашел с ней в подвал недостроенного дома, где они торопливо прильнули друг к другу на каких-то трубах.

А на следующий день познакомился с девушкой-медиком с роскошными белыми волосами (потом понял, что они отбеливались перекисью водорода). Ночь провел с ней на редакционном диване.

Утром она уплыла на сейнере в море в качестве врача, а он стал страшно чесаться. Сомнений не было — подхватил вошек, по времени — не у нее, у той жерди. Опускаем постыдные вещи, как он украдкой искал политань, как брил пах в какой-то грязной уборной, страдая от тупого лезвия местного производства. С ужасом он представлял, что же было с невинной роскошной блондинкой на корабле. Где ты, Мисюсь? Простила ли меня? До сих пор этот вопрос встает неразрешимо перед его совестью.

Странно, многие женщины тоже обуреваемы этой страстью. Он дорого бы дал, чтобы узнать, что они при этом чувствуют. Одна жесткая латышка (она кричала: «Отдавай все, что в тебе есть!», но в момент оргазма почему-то выпрастывалась и, сжавшись, переживала наслаждение одна) призналась в интимную минуту:

— Так хочу иногда, что готова выскочить на улицу и отдаться первому встречному.

Это Павла коробило — она, возможно, видела его первым встречным.

Он быстро научился привирать в статьях — это называлось «приподнимать действительность».

Однажды был в командировке — три дня в море на сейнере. Почти все время его рвало, и лишь на третий день оклемался и даже поел в кают-компании свежей жареной на противне рыбы. И спросил у капитана разрешения в очерке о нем поместить свои стихи, как бы его — для романтической выразительности образа. Добродушный капитан похлопал по плечу: «Валяй».

И Павел, вспоминая только, как его рвало, написал героический эпос о капитане-поэте, о штормах и преодолении, со своими стихами из детского еще дневника: И где-то там, в тумане голубом,/ Казалось мне, в сиянье неземном/ Меня большое счастье ожидало.

Короче, из сора создал шедевр.

Перед отъездом на экзамен узнал, что пьяный капитан, сжав кулаки, зачем-то искал журналюгу. Его осмеяли семья и сослуживцы.

Перед отъездом в институт Павла вызвал главный редактор. Он благоволил к нему, и не любил Олега, искал повода уволить. «Что вы думаете об Олеге Николаевиче? Только откровенно, все будет между нами». Павел был доверчив, да и сейчас ловится на эту удочку. И решил. «Олег очень хороший друг, и талантлив. Мне во многом помог, но...» Он замаялся. Решил высказать свое тайное мнение. Ведь мы имеем свои мнения о друзьях и близких, часто не очень лестные, которые никогда бы не стали высказывать. «У него нет стержня. Беспринципен. Нет подлинности». «Я тоже так думаю». После отъезда Павел узнал, что он тут же рассказал об их разговоре всем, и Олегу. Долго Павел хотел встретиться с ним, и тогда, когда тот уже был главным редактором одной из центральных газет, и набить ему морду. Это и сейчас не дает ему покоя.

Потом Олежек, как Павел и предполагал, стал депутатом, по необходимости то радикалом, сурово бичующим пороки и некстати гогочущим, то националистом-государственником, то умеренным.

А Павел начал свой трудовой путь чиновником в министерстве, где раскусили его нелепость искренности, и расположенные к нему люди спасли от расправы, послав в длительную командировку в Америку. Крушение Империи переломило его судьбу надвое. Но об этом будет рассказано позже...

Встретила Екатерина, усталая на вид, с зелеными глазами и стройной фигурой, в зеленом, под цвет глаз, платье. Она была руководителем здешней правозащитной организации и участвовала в организации представительства Фонда «Чистота».

— У нас все проще, — сказала она. — Здесь борьба за власть, за бюджетные деньги. Губернатор — миллионер, работает на свои предприятия, на водочный завод.

Ее подруга — по ее инициативе энтузиасты безвозмездно строили природно-рекреационный парк — добилась финансирования из бюджета, так из-за этих денег чуть не застрелили. Мафия. Требовали ввести их человека на должность заместителя директора. Катя ее прятала — искала милиция.

По ее словам, жизнь здесь не то, что в центре — скучнее и проще: более открыто выражена борьба (меньше что делить, разве что приватизируемые старые предприятия, рыбные квоты, небольшие бюджетные деньги и власть); наивные люди, увлеченные в бездны предпринимательства, но измотанные постоянными поисками разных уловок, чтобы дело шло и развивалось; власть, лоббирующая свои уполномоченные предприятия и фирмы, в том числе в газетах, на телевидении и радио; основная масса населения — работяги порта, грязных и ядовитых металлургического, цинкового и лакокрасочного заводов, подрывающих здоровье; свои политики — оппозиция, готовящаяся к местным выборам, интересующаяся программой приезжих по оздоровлению населения, чтобы иметь козыри в выборной кампании; своя мафия, проникшая во власть, убийства при дележке бюджетных денег; более откровенные, чем в столице, журналисты, открыто за деньги рекламирующие те или иные политические и мафиозные силы; свои чудаки — правозащитники и независимые газеты, смело вступающие в схватку с

властью, старики, возделывающие на своих клочках земли ботанические сады из диковинных местных растений и деревьев.

Мэр города, приземистый, с крестьянским лицом встретил делегацию Фонда, словно не ждал, но сразу ввел себя в нужную колею.

— А, Катя! — приобнял он ее, она надменно отодвинулась. — Давненько не была, почему не заходишь? Не меня ли боишься?

— Вас — не боюсь, — открыто глянула она. Видно, прежние отношения.

— Я ведь сам был депутатом Государственной Думы. Знаю всю ту кухню. Не заманишь.

Он был обижен нынешним положением в захолустье, под командой губернатора и областной Думы, откуда уже не выбраться в центр.

— Вот, приехал сюда. Прежний мэр, из демократов, наделал долгов. Теперь выкручивайся. Пришлось отменить бесплатные автобусы.

Почему-то все они сваливают ошибки и долги на предшественников. Павел уже понял, что здесь — свои проблемы, свои нехватки, и ждут чего-то — от приезжих из столицы. Аркадий горячо доказывал, как с помощью эликсира здесь наступит возрождение.

— У меня, вон, крыши текут! — сокрушался мэр. — Трубы отопления надо менять — зима на носу! А вы со своим эликсиром. Вы же фонд, помогли бы финансами.

— Мы не денежный *Fund*, — смущенно сказал Павел, — а *Foundation* — общественная организация.

Мэр разочарованно отвернулся. Аркадий расставил на его столе бутылочки с эликсиром, уговаривая выпить.

— Запатентовано! Вызывает только одно побочное явление — желание любви!

Тот глянул на свет на зеленоватую жидкость на спирту, попробовал и поморщился.

— Какая гадость!

И выпил весь флакон. Действительно, эликсир действовал — он стал добрее. Потребовал «по второй» и стал чокаться «на брудершafft». Оказывается, он совсем другой, и к приезжим всей душой. Но больше его влекло к Кате.

— Выпей тоже, Екатерина! Для тебя я все сделаю. Давай, потанцуем.

Не пившая «Виты» Катя, хотя и рекламировала ее на здешнем рынке, откровенно отстранялась от мэра. Павел тоже не пил эликсир, словно боялся за себя.

Они уходили уверенные, что здесь действительно другие люди, чище и проще, чем в центре.

Столичных мягко взяли в оборот люди главы области, показали принадлежащий его родственникам вино-водочный завод. Итальянское оборудование из нержавеющей стали, везде чисто, компьютеры, немного людей в белых халатах. Купили на Кавказе склон горы и засадили своим виноградом — сырьем для вина.

В коридоре, на стене доска почета с фотографиями зачинателей их дела, правила-скрижали для сотрудников, где главным был призыв к радости увеличения прибыли и корпоративной солидарности.

Делегацию одели в космические полиэтиленовые халаты и шапочки, проводили в зал розлива. Молодой, одетый с иголки директор — зять хозяина области, с непроницаемым лицом олигарха, очень четкий и корректный, снисходительно показывал свое образцовое хозяйство. Внутри в нем ощущалась постоянная взволнованность нувориша неожиданным обладанием огромным предприятием. Былой страх нищенства застыл в горделивом чувстве собственника. Ровно шипел конвейер с мириадами движущихся бутылок, в месте переворачивания бутылок был пункт контроля — две женщины вглядывались в поиске посторонних частиц. Сочетание рабского ручного труда с измочаливающей равнодушно-механической силой техники. Как они тут работают? Это же конвейер, изобретенный Фордом и осмеянный человечком Чарли Чаплина, все время убыстрявшим движения рук, до бешеного мелькания.

— Это у нас единственный немеханизированный узел, — заметил директор. — Работают по четыре часа в день.

В зале дегустации оказался выпивший Печенев, он все время куда-то исчезал. Павла слегка задевало, что тот, сотрудник Фонда, делал что-то, чего шеф не знал. Оказывается, он был знаком с директором завода.

В дегустационной комнате директор поднял тост за союз центра и региона, за поддержку благого дела — борьбы за чистое производство и чистоту продукции.

— Когда построил завод, думал — все, — вдруг беспомощно улыбнулся он. — Но оказалась, это только начало. Предстоит долгая раскрутка нашей высокочистой продукции. Надеюсь, вы нам поможете.

Павел вдруг понял, как тому было трудно.

Все время столичных снимали на телекамеру какие-то лохматые двое. Павел подумал — для заводского архива, но на всякий случай делегация держалась в другом измерении, обнажая только те качества, что годились для показа.

А вечером встречу показали по местному телевидению. Молодой директор принимал общественность из центра. Он говорил о чистых отношениях, о своем чистом производстве и продукции. Столичные были фоном. Явная реклама. Весь механизм договоренностей и оплаты телевидению, естественно, был за кадром.

Вставили только кадры с профессоршами, приехавшими вместе с Сократом рассказывать о препарате «Вита». Сократ был взбешен: они, со своим столичным лоском, больше говорили о недостаточно исследованных свойствах препарата.

— Если вы приехали рекламировать препарат таким образом, то зачем вы здесь?

— Вырезали нужную часть! — обиделась она. — Мы сделали, что могли. Кстати, сделали рекламу. А нам даже за лекцию платят по тысяче долларов.

Осторожно доверительные люди из местной «оппозиции», принявшей на вооружение программу Фонда по оздоровлению населения региона, пригласили на свое собрание. Руководил ими Олег. С ним пришел и Печенев.

Олег, депутат-демократ, худой, с веселым взглядом и звонким голосом сквозь хрипотцу, уверенный в своей бессменности в ближайшем будущем, развесил какие-то графики.

— Вот здесь, друзья, план взятия демократией власти в городе.

Он рассказывал, как надо завоевывать большинство — сначала в местных органах самоуправления, потом в блоках самой власти, обозначенных в графиках. Он гордился своей гениальной идеей поступательного и неизбежного захвата, открывающего неопределенно волнующие новые просторы.

Слушали сдержанно. Павел всегда подозревал в людях глубины, которых не видел в них, внешне обычных. Сильно выпивший после работы представитель оппозиции — взлохмаченный абориген из малочисленных народов, вылезал вперед и косноязычно требовал немедленно пойти крушить коммунистов.

— Садитесь! — опешил Олег. — Помолчите, если напились.

Только в местном музее стало отрадно. Екатерина привела делегацию на выставку. Такую же однотипную, как и по всей провинции. Но экспонаты подлинные, из истории выживания аборигенов. Много экспонатов малочисленных народов всего северо-восточного региона, вплоть до Байкала, — трогательные юрты, расшитые вручную халаты с древними орнаментами-заклинаниями, глубоких тихих расцветок, выражающих вековые впечатления от местной природы и жизни, ковры из золотистой шкуры нерпы, как скупое местное солнце, напоминающее драму одиночества маленького народа на планете.

Только там Павел увидел по-настоящему этот край, восток. Его зажимы исчезли, стал самим собой.

*Эти залы уводят в дикие сины
вечных далей степных и низеньких гор.
Там, в народе ином — перевозданные силы,
и начала его неведом простор.
Как безмерна она, эта нация малая,
в гулком, свежем утре вечных равнин,
между гор в загадочном блеске Байкала,
в дивном свете холодном Гэсэра страны.
В грубошерстных, темных ее гобеленах
скачут кони цельной, суровой страны,
в керамических формах простых обожженных —
островерхие шапки эстетик иных.*

Рядом ощущал молчаливую Катю.

Поразил большой раздел фотографий о наркомании, обуявшей город: изможденные лица девочек-старух, лежки в нирване наколовшихся групп молодежи, и как искусственные вставки — массовые спортивные и культурные акции, призванные отвлекать от наркомании.

Вот бы сюда эликсир «Вита»! Этот мир изменился бы очень быстро.

И только на отдыхе, в стороне от города, в тихом заливе, куда впадает чистойшая быстрая речка Кабарга с всплесками лососей, с густой таежной чащей по берегу, стало ненужным все обязывающее.

Море отвлекало, хотя не снимало тревоги и нехорошего напряжения. Павел старался заменить душевную муть тишиной, покоем сияющего залива, таким далеким от всего, и она постепенно уходила куда-то вглубь. Почему нельзя жить этим чувством в суеотящемся чреве города?

Катя полезла в холодную воду, как сказали, всего пятнадцать градусов. Ее стройная фигура в купальнике, что-то новое в печальном лице странно сочетались с этим покоем. Даже неопратно спутанные волосы были к месту.

Павел тоже смело влез в воду, уверенный, что закален утренними обливаниями, но опасно плывал близко к берегу, и скоро вылез — кожа долго не отходила. А она уплыла далеко, в одиночество иной страны.

Переодеваясь в кустах, он трогал березку, белую, с поперечными черными бородавчатыми полосами. В ней есть что-то благоприятное нам. Сам этот процесс был приятным. Где-то там еще плавала Катя, и было боязно за нее. Природа — исторически самая близкая, но забытая часть бытия.

— Шашлык готов! — прервали философские изыскания Павла.

За длинным столом сидело сопровождающее областное и местное начальство и работники рыбообработочной фабрики — простодушные провинциальные тетки, почти все незамужние. Пили из бочонков вино, присланное тем молодым директором вино-водочного завода, и приготовленный в бутылочках эликсир «Вита».

Павел украдкой смотрел на озябшую молчаливую, со спутанными волосами, Катю. Изредка и она взглядывала на него малахитовыми глазами. Аркадий суетился возле нее, был слышен его уверенно-резкий доминирующий голос, — принес ей «особый» тающий во рту шашлык с жирком и подливал вино.

Все косели, и в Павле открылись шлюзы в неведомую свободу, рискованную для окружающих.

- Предлагаю устроить конкурс «Мисс Чистота». Имеется медаль для победительницы.

И открыл коробочку с золотой медалью и изображением птицы на ладони, внушенным библейской легендой о рае, где люди и звери жили в полном доверии.

Все зааплодировали. Катя отвернулась, дрожа от холода.

— Давайте наградим медалью... девственницу, — вдруг своей скороговоркой сказал Сократ, с добродушным смешком.

Загоготали, кто-то предложил кандидатуру — толстую аборигенку с огромной грудью. Та застыдилась, сопротивляясь подталкиваниям вперед.

— Кто за? — продолжал Сократ. Все подняли руки.

Павел торжественно вручил ей медаль. Немедленно нашли цепочку и повесили довольно тяжелую медаль ей на шею.

— Ты что ж дискредитируешь знак? — на ухо громко упрекнул Аркадий.

Катя сказала своим печальным тоном:

- А я думала о вас иначе. Кстати, я их жалею. Такие наивные, чистые, и несчастные. Ждут семейного счастья. А что тут ждать? Мужиков мало, и те спились. Так вот и проживут, впрочем, как все мы. Надежда умирает последней.

С ними Катя остаться не пожелала, уехала в город.

После суровой, чисто мужской сауны Павел с Аркадием и Сократом пили водку в номере. Сократ был саркастичен — эликсир «Вита» здесь не шел, не удалось пристроить его в сети торговых точек и аптек.

— Кто-то тормозит, — выливал он раздражение. — Слухи, что из местного комитета здравоохранения. Официально не могут, так запретили устно: не хотят конкуренции со своей, местной биодобавкой. Говорят, это губернатор.

Действительно, они по местной телепрограмме видели полную даму, порицавшую чужое, не способствующее оздоровлению населения, поскольку местное население, в поколениях, привыкло к своему. Сократ мрачно добавил:

— Этот змеиный клубок нам не осилить, Мы со своим эликсиром — не ко времени. Может, и будет время, но не сейчас. А сейчас время терпения, тихой сапой надо, как ты говоришь. Выживать надо.

Сократа побаивались. Что-то в нем есть отдельное, далекое от сослуживцев. Опасное равнодушие человека, окончательно решившего опираться только на себя.

— Это мировое направление, — бодро возразил Аркадий. — Мы не одни. За нами будущее!

Павел поморщился. Никогда не подумаешь, что коренастый сибиряк, крепко стоящий на земле, может быть романтиком. В нем отсутствует трезвость взгляда, казалось, слегка искажает реальность, приподнимая ее своим оптимизмом. Это мешает ему в бизнесе точно оценивать и учитывать потребности покупателей. Из-за этого очередная жена развелась с ним. Впрочем, это есть и во мне, подумал Павел. Больше того, тот, подпавший под его влияние, сохранил его прежний энтузиазм, Павел был для него гуру.

— Ну, ну, давайте, — снисходительно поощрил Сократ. — Раскрутка товара, бывает, длится десятки лет. Во всяком случае, нужно оценивать все трезво, долго работать. А не наскоком.

Самолюбие Павла было задето, было стыдно и хотелось уехать. Все нормально, он снисходителен, как столичный гость, но внутри дрожало бессилие уйти от чего-то непреодолимого. Какая тут может быть перспектива для представительства?

Отчего ему так неуютно и тесно в этой тягостной новизне, среди чужих, и нет ощущения легкой свободы командированного, и его улыбки, с готовностью принять как должные любые ненужные разговоры, его навязывание должностным лицам, несущим свою ношу нездоровой

борьбы за власть, — ничто не может освободить его от тяжелого ощущения угрозы. И эта печаль Кати...

Павел решительно выпрямился.

— Пора сматываться. Мы здесь не нужны.

Улетали они неудовлетворенные.

В самолете к Павлу подсел откуда-то вынырнувший Печенев.

— Продолжим? — дыхнул перегаром, и почему-то подмигнул Олегу.

Для Павла этот городок стал враждебным. Ничего не осталось из прошлой привязанности, казалось, от него окончательно отделился свет — бездонный источник детства. Душа в тумане солнечном живет над облаками — самолетным зудом. Вот в пятнах водорослей цветет залив, сияя прямо в душу чудом. Вот берега неведомой земли покрыты тундрой, неземною флорой, мягчайшим мхом, где шикша исцелит, и карлики-рябинки — красным флером.

Олег спросил:

— Что случилось? Ты чего такой?

Павел почему-то не мог быть искренним с ним, делиться своим тяжелым предчувствием.

2. Фонд «Чистота»

Наконец, больной от перемещений в неблагоприятных пространствах, выпивки и неправильной еды, Павел возвратился в привычный ритм.

Он соскучился по жене, но почему-то сразу с аэродрома повернул на работу.

По пути загляделся на многоэтажный финансовый офис, — огромную пирамиду с затененными, слепо отблескивающими на солнце стеклами, с бесконечно уходящим, раскрывающим в свободу пространством помещений. Это владение бывшего соседа, наладившего в подвале их дома торговлю водкой «Абсолют», где постоянно дежурили огромные фуры, вызывая раздражение жильцов. Провернув ослепительную операцию, теряя бумажки «черного нала», он исчез из лап налоговой полиции, и вскоре объявился крупным финансистом. Мечта, в начале миллениума, малого бизнеса, брошенного на произвол своей судьбы. Интересно, как себя чувствуют обладатели таких космических зданий? В постоянном изумлении привалившим счастьем, или боязни отъема? Или парят в иных измерениях, где уже не нужно искать еще что-то?

Павел спокойно смотрел на этот недоступный, и потому не нужный ему мир. От недоступности стал не завистлив и аполитичен.

Но вот чудный, салатного цвета особнячок, двухэтажный, с колоннами! Обетованный берег, с чистым садиком за ажурным чугунным забором, расставленными в цветах фигурками, где так хорошо посидеть в обеденный перерыв. Внутри такой оранжерейный уют, что в нем исчезает привычное понятие работы, — чистое творчество, искомый идеал Фонда «Чистота». Ему бы вполне его хватило. Лимитческая мечта о достаточном по площади и оргтехнике, красивом *собственном* офисе сублимировалась в тревожные сны, тайно сопутствует всей его дневной жизни. И эта боль не отмерла.

Вошел в свой офис, чуждый после увиденных пространств. Тяжело было возвращаться к суете работы. Его внесло из открытого заманчивого простора в какую-то диккенсовскую колею нищеты и выживания.

Офис Фонда «Чистота» — одна большая комната, со старой советской мебелью, перетасканной еще с прежних работ, с выгородкой из шкафов — его кабинетом. В окне видны голые ветки высоких, выше пятого этажа, деревьев, и на вершине, на ветке висит черная грязная шапка. Непонятно, как она туда попала?

Убогость офиса — «сарая» с дореформенной мебелью скрашивает оранжерея ожиревших от искусственной жизни толстых и колючих растений, обхаживаемых сотрудницами, — от красных и коричневых до зеленых, черных и белых — веерами листьев длинных кинжалных, топориками, кактусовидных, хвоевидных, вьющихся по стенам. Некоторые цвели яркими цветами, не несущими отрады дачных цветов. Противоядие тяготящей атмосферы офиса.

Здесь он погружался в тень, затрагивающую саму жизненную энергию.

* * *

Немало прошло с того дня, когда после стояния у Белого Дома среди защитников демократии от гекачепистов Павел двинулся в поход за очищение общества с немногими соратниками.

Несколько тупиковых месяцев они прожили в центре, но беда не приходит одна — были выселены вместе с предприятиями из-за их, якобы, экологической опасности и необходимости реконструкции зданий. Причины объективные, делающие бессмысленными возражения и пустяковые намеки на предвкушаемые администрацией огромные доходы от тех зданий в

самом центре города. Тогда еще не обозначилась проблема рейдеров, отнимающих собственность хитроумными способами. Однако им пообещали замену. И тут же, после их выезда, вышло постановление о передаче помещений в аренду только через конкурс. А у них, общественной организации, нет на это денег. Места не было, жить стало не на что.

Выбросив балласт, вновь голые, без прежнего оптимизма, временно переехали в одно из обветшавших зданий, огороженных глухим забором, с постом охраны, принадлежащих сомнительным владельцам, которых никто не видел. Олег Николаевич, депутат Думы, все же помог подобрать это помещение, временно, для них почти бесплатно. Мол, договорился, как-нибудь отработаем. Ничто так не постоянно, как временное. Павел чувствовал, что не надо было сюда влезать.

Вещей накопилось очень много — они вызывали странную боль, каждый клочок бумаги. Архивы — хранители тяжелых и горьких лет борьбы за выживание, дорогие ему документы: опасные бухгалтерские отчеты; ужас приходящих платежей, изымающих деньги, казалось, из самого нутра; благотворные в глубине счета, направленные должникам; ведомости нищих зарплат и скандальные книги учета рабочего времени; отключавшие от работы судебные и арбитражные дела, оставившие седину на его висках; страстная переписка со многими организациями и людьми, кончившаяся ничем. Старые программы — яркие воспоминания о безумных надеждах и боли невоплощений, бизнес-планы: словно штурмом пытались взять небо! Та жизнь откипела, отошла, и никому не нужна, даже самому Павлу. Странно, но и прожитая впустую жизнь тоже дорога. Какие же остаются зияния на месте человеческого опыта! Его опыт умрет вместе с ним.

После переезда на окраину города пытался организовать, спланировать, структурировать работу, а сослуживцы, в душевном погроме, глазели по сторонам в недоумении. Смотрел на них, прибившихся к нему в поисках заработка, из расформированного министерства, где он начинал работу. Без достаточной или востребованной квалификации, кому некуда идти. Вынырнули откуда-то из дефолта, безденежья и нищеты, в глазах виден животный страх за существование. В сущности, в таком же состоянии, что и он.

Павел шкурой ощущал, что Фонд все больше погружается в серую тень — с тусовками непонятных личностей, жаждущих приобщиться к чистому делу. Ощущение неслыханной свободы, которое было у Белого дома после поражения ГКЧП, лишь изредка мелькало чем-то особенным в душе. Павел обнаружил: в нем не стало былого энтузиазма.

Вот он спешит на переговоры, на полезные делу выпивки с нужными людьми и приятелями-бизнесменами (посоветоваться, как быть дальше), чтобы потом страдать от «производственной травмы». Сколько на улицах, в парке народу! Мешают на пути толпы празднующихся зевак, неуступчиво не дающих пройти, мельком смотрит на огромное движущееся колесо-карусель с парочками в люльках, на катающихся на детских машинах взрослых здоровяков. Как хорошо лениво сидеть на скамейке и жевать воздушную кукурузу! Какая там чудесная жизнь, без стрессов и бессонницы! Он с ними в разных ритмах, в разных измерениях.

Вся страна живет в ином измерении. И только он — все время бежит, с изумлением глядя на гуляющих в рабочее время.

В Думе бежит по этажам, потяя, записывает что-то на коленях, ждет в кабинете депутата Олега Николаевича, друга молодости, пока тот полчаса разговаривает, попохатывая, по телефону, унижен, не хочется иметь с ним дело, и решает больше не приходить.

У Павла внутри — вечная тревога, забота, вечный бег. Разве это нужно человеку? Не оставляла тревога неясности, угроза — где-то впереди — банкротства. Организация висела на ниточке, и вот-вот могла развалиться. Вернее, просто тяжело на душе, вне всяких резонансов. И никто до конца не понимал этого, да и что толку от понимания.

Фонду нужна была поддержка государства. Пошел к одному из руководителей курирующего ведомства. Это оказался бывший министерский шеф, куривший «Данхилл», присылаемый ему еженедельно с Запада.

— Аа, — наигранно обрадовался он, изящно повернувшись толстым телом. — Добились: время изменилось.

Видно, спокойно ждал падения империи, заботила лишь мысль остаться на новом месте в прежней стабильности.

— Предлагаем дело, — говорил Павел. — Оздоровлять людей, их психику.

Чиновник, влезая в рукав пальто:

— Участие в наших программах — это реклама для вас. Нужно оплачивать. У него четко определены финансовые возможности для своего круга исполнителей. И, может быть, где-то в глубине души боится возможного возвеличения какого-то слишком прыткого Фонда. Тут какие-то нюансы.

— Мы предлагаем свою рабочую силу.

— В утвержденном плане мероприятий такой раздел не предусмотрен, — вздыхал он. — Нет финансирования.

— Нам не надо, мы сами. Пусть результат будет числиться за вами.

Он не верил.

— Увы, нет в плане мероприятий.

— Не хотите, чтобы даром помогли? Не вам, а населению?

— Без денег работает только дурак.

Забыл, что посягнул на Иисуса Христа.

— Значит, отказ?

— Увы, хотели бы, но...

Другой чиновник, упитанный — от нехватки времени, чтобы следить за собой, озабоченный трудностью решения, куда вести отрасль, глядя прямо в глаза, кратко резюмировал суть его интересов.

— У меня проблема мусора. Если так будут валить, в реку пойдут тяжелые металлы, а это отравление питьевой воды.

Фонд — вне их интересов. Они не могут выйти за рамки определенных им целей. Это не бюрократизм (то, что называют бюрократизмом, более легкая проблема), а замкнутость в выделенном поле интересов, где они пасутся. Павел со злостью думал: их интересы не имеют ничего общего с движением мира. Поэтому цивилизация отклонена от истинной цели человечества. И не мог согласиться!

Может быть, они правы, и общественники не нужны, не отвечают их нынешним потребностям? Они имеют аппарат давления для получения результата. Не то, что мы: за нашей спиной нет гарантированной зарплаты, нет репрессивного аппарата, и приходится выкручиваться самим. Наши умы отягощает сама неизвестность, трудность получения денег и результата, когда вся работа строится и зависит от обязательности и веры сотрудников, и впереди смутно. На госслужбе такие тревоги не приходят в голову, потому что финансовый тыл обеспечен заранее. Для власти уход экономики в тень — преступление. Хотя ее бессилие выдают плакаты на перекрестках — на черном, переходящем в белое фоне: «Пора выйти из тени!». А для нас в этой тени — кровь и разочарование, попытки спасти бизнес, успех и банкротство.

Отчаяние Павла — уже другой природы, чем в юности, когда не знал, как себя вести, искал в себе определенности. Это осознание, что его дело, его личность по-прежнему никому не нужны, никого не смог зажечь. Его усилия оканчиваются ничем. Может быть, он неудачник оттого, что предлагал, как готовый продукт, слишком общую, обширную концепцию — всегдашняя ошибка прожектеров. Хотя уже прошел долгий путь конкретизации его концепции —

ею стали интересоваться деловые люди. Побеждают те, у кого примитивно ясная и востребованная цель. У чемпиона — пловца она предельно ясная — проплыть сто метров за пятьдесят секунд. И ему надо бы отринуть смутную цель, убивающую жизнь, или сделать ее простой, совместимой с возможностями.

И он нашел такую цель — чудодейственный эликсир «Вита».

* * *

Телефон молчит — признак отсутствия процесса труда. Слышен обычный треп. Слава богу, вроде бы все мирно. Он и коллектив живут в разных ритмах. Они, в основном из развалившегося министерства, где сам начинал, прибились к Фонду, как к спасительной соломинке, и принесли все свои офисные привычки. Он не следил, что творится с дисциплиной — неловко было бы, и за себя, и за них, да и жалко их: каждый день тянуть ляжку, и рано вставать! Разрешать прогуливать — нельзя, ибо разрешение — это уже правило. Но был уверен, что при таком доверии им не позволит совесть.

Павел виновато проскальзывает в кабинет. Сотрудники задвигались, показывая рабочее оживление.

— Хозяин приехал! — сказал Коля и заржал. Безответный старательный, но ничего не умеющий курьер Коля, из неблагополучной семьи, в детстве задетый менингитом. Он жил в своем мире вечного детства, разговаривал сам с собой, громко похохатывая, и постепенно намагнитил Павла — тоже стал разговаривать с самим собой. В конце концов, и он жил в собственном мире, недоступном другим. Но иногда у Коли, чем-то физически угнетаемого, были красные усталые глаза, он не понимал, в чем дело, за что? К нему относились, как к естественному несовершенству природы. Он стал истинным сыном Фонда. И, возможно, его эмблемой идеальной чистоты.

— Не замерзли, миленький? — фальшиво-ласково пропела Домохозяйка. — Может, чайку согреть?

Она соседка Павла по дачным участкам, выделенным бывшим министерством. Не знает корпоративной субординации, и это покоряет. Ее опекает жена.

Шумно встает, здороваётся за руку грузный зам Пеньков, с широким багровым лицом и гусарскими усиками. Он любит рассказывать истории из жизни в высших сферах: «Заходит ко мне в кабинет министр, я вынимаю бутылку из сейфа...». Показывает нарочитую независимость. Былое величие стало его болезнью. Может быть, в его чиновничестве скрытая ранимость?

Радостно поднялся бухгалтер, приятель с министерских времен, с острой бородкой, шуплой фигуркой, специально приспособленной, чтобы уклоняться от нагрузок и трудностей.

У него разлад в семье, жена почему-то восстановила против него дочь, ленивую и несуразную. Поэтому его тянуло в Фонд искренно: «Прихожу как бы в ашрам! Хоть подышать здесь свободно», — восклицал он, глубоко вдыхая затхлый воздух старого здания.

— Надеюсь, не влюбился? — сдержанно спросила красивая Лена, глядя на Павла влажным взглядом. В ней тоже нет покорности субординации — знает, что не равнодушен к ее женским прелестям.

— Не хватило времени, — ответил он, благодарный ее искренности. И, вспомнив правозащитницу Катю, уже смотрит на нее трезво, ее взгляд не действует.

Когда-то, в министерстве, он называл ее Ундиной. У нее благородно ухоженная кожа, слегка вывернутые полные губы, для поцелуев, и приоткрытая полная грудь из выреза меховой кофты. Вечером после работы они ждали, когда все уйдут. Она сидела в уютном уголке

за шкафом, у зеленой лампы, на стене фотография ее красавицы-дочери, излучающей беззаботную радость.

Словно кролик, Павел шел к ней, присаживался — колени в колени. Она отбрасывала учебник латинского языка, который читала просто так, из внутреннего позыва. Они наперебой сражались со стыдливостью, читая стихи. «Я сплю, как в раннем детстве спят», — шептала она из Пастернака. Павел вторил Блоком: «На небе празелень, и месяца осколок... Молчи, молчи, о том не говори...»

Она читала Исикаву Такумото: «Однажды, развеселившись/ Легко я на руки поднял / Свою мать... И так сжалось сердце». Он отвечал им же: «Заветной мечтою моей жены/ Было научиться пенью./ Теперь она не поет». Словно смотрел в будущее.

- Отвернись, что-то скажу, — шептала она. — Ты мне очень нравишься. Сижу сзади и все время на тебя смотрю. Такая милая головка. И затылок.

— Небритый, — говорил он.

— Никогда такого не было — иду на работу с радостью, что там ты. А когда задерживаешься, то жду с радостью.

Он что-то бормотал, вроде: «И ты тоже ничего».

Она шептала:

— Мне нравятся мужчины, в которых есть женственное начало. Потому что обычно мужчины бессердечны.

Это слегка коробило его мужское самолюбие.

Она признавалась:

— Ты знаешь, как много я пережила!

Умела оценивать себя трезво. Она, психолог по образованию, любила классифицировать людей, которых мало ценила, в том числе и себя. В платье наподобие кимоно (была с мужем-бизнесменом в длительной командировке в Японии), сама похожая на японку, с широким лицом и полными губами. Не выносила семейных тягот, и желала иных наслаждений, наверно, это он сам в юбке. Они сошлись на любви к поэзии. Зав машбюро Дора, высокая жилистая тетка, неприятно морщилась.

— Смотри, она тебя сожрет. И не подавится.

Она жалела Павла. Он изумлялся: как это можно говорить так о чистой Ундине?

Его неожиданная женитьба и хлопоты по созданию Фонда отдалили их, очистили отношения. Может быть, из-за иерархии? Но прежняя аура влюбленности помогала им. Любовь женщины — незабываема. Но сейчас то волшебство исчезло.

Сурово молчит за своим столом секретарь Дора. Постарела, с худым лицом (болезнь почек), приобретшим измочаленный вид, отчего выделялся нос. Она сумела получить от министерства квартиру, и не могла насытиться рассказами. «Сидела дома. Квартиру протирала. Так люблю! Не устаю. Плинтуса до блеска протерла. Даже всплакнула». Своя квартира — это было чудо, за пределами существования. Это чудо заменило ей все, о чем мечтала в жизни.

Павел чувствовал себя виноватым, и потому энергичным. Наверно, разболтались, не смирившись с потерей в зарплате.

Стол его завален бумагами. Он смотрит на документы, письма, как на математическую задачу, воображая адресата и стараясь подцепить его в расставляемые сети. И надо в компьютере сокращать текст, чтобы влезал по объему в одну страницу — длинное не читается; тут секретарь Дора с пачкой отксеркованных писем на подпись, он подмахивает, пока рука не отсыхает, как у Некрасова. Главное, нужно провести выставку и показать новый препарат. Не в успехе дело, а не прогореть бы финансово! Это — работа целого предприятия, со всем его сложным механизмом: тонким, на грани психологии «окучиванием», по выражению Пенькова,

участников, заказчиков, поставщиков, и арендой, строительством, и опять договорами, сроками, бухгалтерией...

У плеча ждет бухгалтер с финансовым отчетом; давно сидит приглашенный гость; Павел забывает поесть, отчего Дора сурово выговаривает. Особенно сложны эпистолярные отношения с губернаторами: того убили, того арестовали, тот сбежал с деньгами, — приходится искать имена новых избранников, их биографии, чтобы приноровиться.

Ему иногда кажется, что они не дают ничего, а только через трудности непрофессионализма оформляют необходимые бумаги — программы, письма, счета — лишь для поддержания штанов. В эту яму влезают люди, становясь теми, как есть. И стоит только вылезти из нее, там, наверху, начинается истинная жизнь (может быть, такая же иллюзия жизни). Неужели вся история копошится в этих обескровливающих интересах, и это определяет ее развитие? Странная эта отвлеченность копошения, необъяснимо, неосвязаемо приносящего скудные доходы.

Фонд стал обычной организацией: даже в таких маленьких ячейках воспроизводится бюрократическая структура с обыденными проблемами помещений, денег, интригами. Соратники видят дело как нечто объективное, обязательное, данное свыше, кормящее из какого-то сакрального бюджета. Сверху думают, страдают в сомнениях, в ответе за все, а снизу — отчужденная рабочая машина.

Как он допустил, что его крылатое дело превращается в рутину?

Самое страшное — ноша ответственности, он один должен решать, куда идти и как выжить. Не с кем посоветоваться, никто сторонний не поможет — для этого нужно влезть в дело так, как он. То есть самому развивать дело. Самому решать, решаться. Да и просто уметь зарабатывать деньги, без которых завалов не разгрести.

Где далекий результат, и каким он будет — Павел уже переставал соображать. Но знал, что результат будет. Откуда эта юношеская целеустремленность в чудесный результат, вопреки требованию истории: молись работай, все предрешено? Утробная необходимость достичь цели? Стремление одолеть предчувствуемый крах всей жизни? И зачем это нужно? Возможно, эта необходимость, коей тяготился, была древней самоорганизацией, лишь для выживания.

В кабинет зашел Печенев, только что прибывший из командировки.

— Это же не работники. Таким платить не за что. Кто не приносит, тот не ест.

Павлу претит, что тот на его стороне.

— Мне нужен размах. А ты даешь мелкую работу.

— Чтобы вышел размах, надо сконцентрироваться на одном деле. И решать самому вплоть до мелочей. Черт спрятан в мелочах.

— Да, так. Но это узко.

— ?!

— Надо все изменить. Выгнать бездельников. Поручи мне сотрудников. Выметем весь сор, я привлеку стоящих людей. У меня связи.

Павел усмехнулся. Неужели он хочет подобрать своих? Станный разговор стал надо-едасть.

Уезжая, Павел жестоко бросил сотрудникам, от безысходности: нужно переходить на труд прибыльный, на иной подход к оплате — выплачивать премиальные, и хорошие, от привлеченных каждым средств, прямо или косвенно. Это никому не понравилось. Ему все еще кажется, что они не разбегутся из-за нищенской зарплаты, у них есть искреннее влечение не только к ожидаемым большим деньгам, но и к нему. Коллектив внутри обладает неким общественным оптимизмом, бессмертием. Павлу среди них становится хорошо, словно отпускает что-то, отторгавшее от них.

«Ты в этом уверен? — усмехалась жена. — Они любят свои семьи, близких, а ты лишь частица их жизни, по обязанности». На это Павел отвечал: «Кажется, сумел внушить им нечто,

не то возможность зарабатывать больше, не то что-то более высокое». Та вертела пальцем у виска.

Не может быть! Для него порядочные люди те, кто в нынешнем положении остался с ним. Да, они держатся на ниточке его веры в успех. Зависят от него, замирают, когда выдает зарплату. Работа для них — средство существования, и ее надо скорее изжить. А для души — все, что вне работы: вольный отдых в садах и огородах, ночные клубы с таинственным мельканием огоньков на лицах прильнувших пар, тусовки с друзьями, лежание на диване перед «ящиком» или чтение детективов.

Какого рожна ему надо? У всякого так расставлены приоритеты. Нормальный коллектив, иного, наверно, не будет.

* * *

Что-то изменилось с появлением новых сотрудников — кандидатов наук Печенева и Королькова. Дора высказала по поводу Печенева нечто по-женски глубинное:

- Этот человек неприятен. Вот увидите, еще наплачемся. Посмотрите на него — лицо неандертальца. Взгляд из-под бровей — тяжелый. Он тебя загипнотизировал.

- Вы что, дамы, он красив!

И правда, в его по-мужски твердом лице есть что-то от неандертальца: слегка покатый лоб, острые скулы и густая шевелюра.

- Смотри, чтобы не подставил.

Павел был поражен перемене в Печеневе. Куда делся его романтизм, хотя и мрачноватый? Во время их «хождения в народ» тот с целью познания жизни пошел пешком вниз по Волге. Зашел в каком-то городе в проходную завода и стал спрашивать: как живете, что выпускаете.

- Сейчас, сейчас, — сказал охранник. — Сейчас придут знающие люди, все расскажут.

Печенев немедленно принялся записывать. Подъехал «черный ворон», из него выскочили люди в погонах и окружили его, прицеливаясь из пистолетов. Он сидел в кутузке и сочинял самое длинное произведение в его жизни: автобиографию и объяснение. Через три дня ему дали пинка под зад и вышвырнули вон.

Павел уехал на родину, потом снова перевелся на очное отделение, и с тех пор ничего о Печеневе не знал, тот загадочно исчез. Говорили, что сел за что-то. Но у Павла осталось тепло памяти их походов...

Печенев сразу расшевелил болото дирекции Фонда. Сказал грубо, как в пустоту, оглядывая всех, словно хотел найти что-то для себя.

— Гнать надо твоих работников. Бездельники. А этот, больной недоумок — зачем?

И кивнул на спавшего, положив голову на руки на столе, курьера Колю. Тот работал по сокращенному рабочему дню, плохо говорил и писал, но как курьер не сделал ни одного прокола. Знал весь город назубок, выполнял поручения буквально, в министерствах не уходил, не ведая чиновничьего требовал от секретарей поставить на копии письма печатку и подпись с расшифровкой. Правда, к чему бы ни прикасался, все разбивалось или ломалось. На его счету не один сервис. Поэтому его старались держать в отдалении от посуды и оргтехники, коей он особенно интересовался.

Зам Пеньков уставился на Печенева всем широким багровым лицом, ревниво пробасил: — Ну, давай, давай. Посмотрим тебя в деле.

И вздохнул.

— Надо пробовать. Где они, хорошие работники?

Он всегда занят. Пытается расположить стенды первой выставки-шоу, посвященной эликсиру молодости, так, чтобы не платить за аренду лишних квадратных метров площади,

сделать разделы по отраслям так, чтобы, не дай бог, конкуренты не оказались рядом. Он всегда показывает незаменимость и жертвенность в работе. Звонит шефу в двенадцать ночи домой: «Так устал! Только что вернулся из ЦВК (Центрального выставочного комплекса). По твоему поручению промерял площадь нашей выставки. Вот, рулетка еще в кармане». Его Павел ценил за профессионализм, годами выработанную чиновничью пунктуальность и дисциплину, аккуратность и дотошность, даже мелочность при вникании в дело. Он дисциплинирует молодых сотрудников своей чиновничьей тщательностью. Это крайне облегчало его ношу, мог на него положиться.

На натуру Павла слова Печенева были бальзамом. Вот он, решительный и целеустремленный. Это на руку, можно переложить тяжелые решения на него. Крепкий мужик в неповоротливом коллективе!

Новый ведущий сотрудник Корольков уговаривал Печенева:

— Не торопись. Все должно быть по-семейному, открыто. Мы — семья.

Королькова привел Печенев. Павел знал его по общественным тусовкам, и принял менеджером по связям, по совместительству. Тот сразу заявил:

— У меня предложения!

И смущенно:

— Вам они покажутся глобальными, но...

И вдохновенно стал говорить о создании фирмы по распространению эликсира.

— Это будет прорыв.

— Надо бы. Но где взять средства?

— !?

Он почесал голову.

— Надо заработать. Готов сделать магазин.

— Сорок тысяч. В валюте. На оборудование. Плюс аренда площади и склада. Кто даст?

Он смотрит тупо.

— Хорошо, давайте раскрутим наш журнал «Вита». Концепция: соединение физиологических, утробных потребностей подписчиков с идеалом чистоты.

— Один выпуск стоит тысяч двести. Где деньги?

— Но ведь надо что-то делать! Вы не хотите раскручивать сами себя! Делаете деньги, и скупитесь отдавать их на идею. У меня самого фирма была, много заказов, но я выбрал идею — вашу идею, потому что она прекрасна! Надо, чтобы у нас все было открыто, по-семейному. И уйти от узости, шире надо.

— Что ж, раздать деньги сразу, а потом?

— Надо ринуться в бой, а там посмотрим. Нужна широкая реклама — не надо денег жалеть. Выходить на улицу, доказывать...

— Нет денег на рекламу.

— Как нет? Надо тратить...

— Из чего?

— Зарабатывать надо по-крупному, а для этого не надо скупиться.

Новенькие взялись за работу энергично. Павел решил — открыл им дорогу к самостоятельности, поручил экономические вопросы. Как хорошо сбросить с себя часть ноши! И лелеял мысль: такие крутые могут добыть финансирование, легче договорятся и с мафией.

На летучке решил поговорить с сослуживцами начистоту.

На счету денег оставалось на три месяца: на минимальную зарплату, аренду, хозрасходы. Вдруг осознал, что за неуплату аренды могут выбросить на улицу, и превратимся в бомжей. Что будет с людьми? Как они восприняли понижение зарплаты, перед самым его отъездом? Может быть, в их семьях начался голод? Во всяком случае, тяжелые ссоры. Но что делать,

если нет денег, и вся надежда на чудо — небывалый проект, в который они верят и потому не разбегаются.

У Павла привычка к системе, экономии — во всем. После многих провалов и обманов из-за его доверчивости выработалась, окостенела способность к железной финансовой дисциплине. Расходовать точно по смете, учитывающей все, даже непредвиденные обстоятельства — вопрос элементарной выживаемости организации. Кто пришел отхватить и поделить — пропал. Именно эта тайна сметы не давалась наемным сотрудникам.

Он жалел сослуживцев, до сих пор старался повышать зарплату, независимо от рабочего вклада. Им ведь надо жить, и не впроголодь. А это размывало его волю руководителя. Но что делать? Как платить премию (зарплата — уж бог с ним, это сакрально!) — эквивалент результата труда, если не нацелены на результат?

Хотелось, чтобы они поняли, что организация в провале временно, и успех приходит, когда чувствуешь смысл Дела. Бывало, после работы провожал их домой через кладбище рядом. «Кладбище — это не для мертвых, взгляните на надписи: это безутешность любви. Вы должны осязать начало и конец, — обязывал ворчавших. — Не пойдете — лишу премии». И они исправно ходили между крестами.

Пришел и невозмутимый Макс, специалист по сертификации. Он высокомерно не желал сидеть на работе «от» и «до», считая, что «профи» должен быть свободным художником. На нем Павел шлифовал новый распорядок — телекомьютинг, то есть работу сотрудников на дому с общением через электронную почту, телефон и факс, — на свою голову, ибо его работу, которую тот называл технической, приходилось делать ему и остальным.

Макс выделялся подлинным профессионализмом среди приходивших в Фонд экспертов — изворотливых докторов и кандидатов наук из исчезнувших институтов, не отвечающих ни за что. Они по наитию бросались в работу с уверенностью распирающего их опыта в написании диссертаций. И спрашивали: «Вам как рекомендовать — положительно или отрицательно?» Профи — это умение уверенно вывернуться, своеобразная честность, превращающая сомнения в уверенность «с потолка». Павел прощал их: и сам уверенный недоучка, поднаторевший в практике. Но все-таки он учился.

— Начинай свою болтологию, — нетерпеливо сказал Пеньков, запанибрата на правах зама.

Павел рассказывал о командировке: в провинции наши дела не идут. Надо очень хорошо думать, как ее завоевать, нужен «мозговой штурм». Предложил всем сотрудникам обдумать все тонкости ее завоевания.

Они молчат, только переглядываются.

Печенев возразил:

— Там большие возможности. Я приобрел много связей.

Павел поморщился.

— Для кого? Для себя?

— Вы что? Всякую кроху несую домой — в Фонд!

Корольков положил на стол какие-то листки. Павел обрадовался.

— Где деньги? — огорошил тот. — Вот, за год мы заработали столько-то.

Оказывается, это тайно составленная им смета. Как обычно у сотрудников, забыл про расходы. По странной аберрации зрения видят только приход, а львиная доля расходов из него как-то не воспринимается.

Павел не скрывал бюджета, хотя открывать его — вообще опасно. В условиях, когда зарплата подсчитывается всем существом и мгновенно прячется в неведомые тайники, словно ее и не выдавали, — обнажение бюджета организации бывает равносильно развалу. Однако здесь

интимный, сакральный момент и для руководителя, от которого полностью зависят сотрудники. Оставленный наедине со своей совестью и бюджетом, он может проявить благородство или своекорыстие, отдать все на благо организации и сотрудников, или оставить им крохи. Как удерживать бюджет, скрывая его, чтобы не разбежались.

Денежные расчеты — самое болезненное и взрывоопасное чувствилище, и каждый считает, что обделен. Никому не угодишь, и станешь врагом всем.

— Ваша самодельная смета не верна. Есть прозрачные отчеты, бухгалтер, ревизионная комиссия.

Они видят за руководителем нечто большее, мешок за спиной, откуда черпает деньги, сколько надо. А их, ведь, несколько человек, за ними — никого, кроме руководителя и его «интеллектуальной собственности». Жена тоже хочет «нормальной» зарплаты, хотя знает, что денег мало. Павла всегда поражает, когда она в ответ говорит: «Заработай!». У него в душе пожар злобы. Его максимум определялся расчетом всего бюджета хотя бы на полгода, необходимостью платить сотрудникам не вызывая обиды ближних (вообще-то желательно платить примерно одинаково — для спокойствия в ревнивом коллективе, для стимула же надо доплачивать каждому тайно, в конверте, чтобы не возбуждать алчущий коллектив). Да, я скуп, рассуждал Павел, когда нет ни шиша. Но тем, кто возмещает зарплату доходом или, пусть косвенно, облегчает его ношу, он щедр как нищий, даже порой безудержно, готов отдать свою зарплату. В результате зарабатывал ненамного больше, чем они, стыдись брать то, что ему положено. В этом и его слабость — обводят вокруг пальца, обманывается. Но такие люди, умеющие понимать его и пределы бюджета, сами удерживают его от крайностей. Правда, их мало, возможно, единственная — жена.

— Когда надо спасать организацию, руководитель отдает свою зарплату, — холодно добавляет Печенев.

Павел ловит ртом воздух, не находя слов, — в нем поднимается бешенство. Значит, чтобы повысить им зарплату, начальник должен отдавать свою! Не лишен романтизма — только в выгодную для себя сторону. Это было такое же бешенство, как во время их «хождения в народ», когда в «глубинке», расстался с ним после скандала. Узнал, что тот покусился на кривоватую дочь хозяйки, у которой они жили. — Вон отсюда! — кричала хозяйка. — Немедленно убирайтесь! На улицу они вышли с вещами. В Павле кипела злость (вот оно — подлинное!), а тот, с красным лицом, молчал.

Дора сурово поджимает губы. Как всегда, обманчиво спокойна и энергична, и может шокировать прямоотой, если сейчас выскажется. Юнец внутри Павла заранее пугается ее беспощадности.

Домохозяйка, востроносая, с ласково-певучим вкрадчивым голосом, неожиданно сорвалась в визг:

— Денег не хватает на лекарства! У меня отец болен.

Взывает, словно к неиссякаемому источнику, немилосердному, но могущему уступить. Она одевается бедно, готовая притвориться нищенкой, чтобы не замечали, не трогали. Живет с дочерью (пьющий муж бросил их) в блочном «рабочем» доме, закрывшись на своем втором этаже от страха ограбления железными дверями-решетками на лестничной клетке, решетками на всех окнах. Только там, внутри своего рая, счастлива по-настоящему.

— Возвращаю больничные! — гордо сказала Ундина. — Я болела, не работала. Может быть, что-то сэкономите.

— Не наше дело, что в Фонде мало денег!

Павел обмяк. Может быть, люди все понимают, но не могут смириться с нищетой?

Пеньков осторожно сказал:

— А что ты хочешь? Жить-то надо.

Он всячески показывает, как перерабатывает, больной, держащийся на одних таблетках, а сейчас лекарства стоят бешеные деньги. Это его способ существования в коллективе.

— Ничто так не отрезвляет, как смета, — сказал, как отрубил, Макс. Неизменно действует успокаивающе.

Павел, всегда прятавший детские страхи, чтобы не попадать впросак, осмелел в стрессах работы (почему-то только перед подчиненными), высказывал то, что думал. Может быть, это упреждающая самозащита. И с горечью и злостью стал обнажать их суть, ощущая себя занудой:

— Чтобы зарабатывать, надо быть профессионалом. Что же вы умеете? Профессии не знаете. Компьютера не знаете. Языков не знаете. Читаете мало, писать деловые письма не умеете. Философию, поэзию не понимаете. В искусстве — ноль. Сострадания к ближнему нет. Какая убогая система вас породила? Как платить больше, чем вы стоите? С таким кругозором? Платить больше — это аморально.

Его критика нелепа, нехорошее отклонение от общепринятого представления о забитости народа и вине среды. Тем более, что в них он видел себя, отупевшего неизвестно от чего, — засосавшей ли черной работы, примитивных усилий выживания. Аркадий упрекал: «Ты большевик, для тебя люди — средство».

Видел, они, черти, сдерживают улыбки, хотя таких обвинений им еще никто не бросал.

- Да еще страдаем болезнью *дислингвинозом*, — сказала Ундина. — Попросту говоря, малограмотностью.

— И *дислогикозом*, — вмешался Макс, профи. — То есть отсутствием логики.

Никак, издеваются?

— Русский человек всегда замечает плохое, — вдруг прозорливо высказалась Дора. — Нет, чтобы вначале увидеть хорошее.

Домохозяйка удивлялась.

— А если нет способностей? Или возможности?

— Пусть неспособные и нищие пропадают, — фыркает Печенев. — Кому они нужны?

Так он видел неспособных, инвалидов и стариков, с тупым эгоизмом, не справляющихся даже со своим телом, бессильных до отвращения.

— А кто испортил наш брэнд? — грозно спросил его Макс. — Ха, где логика?

— Ты что? — вскинулся Печенев на невозмутимого Макса.

— Тот, у кого нет воображения! — продолжал обличать Павел. В знаке Фонда бездна смыслов, как в стихотворении. Изображение библейской легенды о рае, где люди и звери жили вместе. Не то, что в некоторых гербах с попраным извивающимся чертом, пронзенным копьем. Средневековое мышление. Павел посылал его в агентство заказать макет знака. Но знак оказался серым, не светился смыслами.

— Это же графика, — вскипел Печенев. — Не смешивайте жанры! Хотите от графики эмоций? Спрячьте ваши эмоции.

— Я говорю о вашем равнодушии, а не о графике.

— Ерунда все это, — сказал Печенев. — Тепло... Чушь.

Ундина вяло отозвалась:

— Не мечи бисер.

Павел не нашелся, что ответить. Сотрудники почему-то напряжены, словно услышали угрожающую им ахиною.

— А вот выговор — за плохо выполненную работу — убедит?

— За что? — уставился Печенев, с ухмылкой. — За то, что вы сами четко объяснить не можете? Я протестую.

И правда, в приказе не будет четкого обоснования. Павел всегда напарывался на то, чего всю жизнь опасался, и из-за чего скрывал истинного себя. То была правота невежества. Жена сурово осуждала: «Нечего выпендриваться. Они только посмеются, и будут правы».

Теперь Печенев сильно полинял в глазах Павла, и тот в нем уже видел другого. «Зачем его взял? Память молодости, рекомендация Олега... Какое-то наваждение. На меня это находит. Нет, кандидатов мне не надо. Нужны работники без идей».

Павел пожалел, что подарил Печеневу книжку своих стихов, изданных маленьким тиражом. В целях раскрытия себя другим раздавал ее всем. Странная надежда, что люди могут вдруг открыться, стать близкими, как он им. И непонятно их молчание. Мог предположить, что не нравится, нет таланта внушения. Отозвалась только Ундина «Твои стихи о любви — из страха одиночества. Моя дочь наткнулась на какое-то стихотворение, и вдруг заплакала». И пропела: «Себя стесняясь, осторожным стал, убив в себе любовь и скрыв надежду...» А Печенев, получивший книжку в первый день работы, казалось, не обратил на нее внимания. Для трепетного автора равнодушие — незаживающая рана самолюбия.

Завхоз Василий Иванович поддержал Павла:

— Вот, вот. Русскому человеку нужны ежовые рукавицы, как при большевиках. Тогда сможет сделать что-то путное. Даже в космос человека запустить. Теперь с нашей демократией — куда там! Как сказал один социолог» «Мы доказали свою несостоятельность именно в эпоху свобод».

Завхоз Василий Иванович, в дореформенные времена кадровик, опекавший Павла в министерстве, как-то незаметно переместился сюда. У него стойкая неприязнь к либералам, которые разорвали страну на богатых и нищих. «Раньше мы радовались, что строят, больницу, дом... А сейчас строят, и вижу — это не про нас. Какая-то сволочь придумала афоризм: «Ваша жизнь — это ваше дело». Не стало общего дела». А коммунистов разлюбил. Что с ним произошло? «Какой дурак был! Дураком и прожил». Павел был благодарен ему, он выручал его из нелепых положений — еще в министерстве, где он был секретарем партбюро.

- Надо искать смысл всего, что мы делаем, — все еще пылал Павел. — Не тот положенный вам участок работы, который для вас конечный. Только понимание смысла приносит деньги. Я никогда не думал о них. Деньги приходят сами собой.

— Как это — не думать о деньгах? — удивился Печенев.

— Много же заработали! — разочаровано сказал Пеньков.

Народ безмолвствовал. Все слушали, казалось, с тяжелым чувством. Павел пугался этого молчания людей по ту сторону него. Ведь, все они, даже не понимая, внутри должны чувствовать то же, что и он. Но не очень хотят нестабильности, что несет он.

Наверно, казался им брюзгой из-за того, что нес в себе ответственность за общее дело. Тонул в безрадостном напряжении тех энергий, что сам сотворил. Нельзя быть целиком погруженным в дело! Иначе разлюбишь людей. Заставлять работать — значит отнимать свободу.

Но все приходится взваливать на себя. Ведь это эксплуатация труда работодателя, жизнь за его счет. В наше время нужно защищать руководителей от эксплуатации работниками. Снова оказался в той же атмосфере, что и в министерстве. Только не на положении гордого свободолюбца, а душителя свободы. Это уже не был он прежний, стал расчетлив и рационален.

Странно, это не былое угнетающее исполнительство в министерстве, где порывы режут на куски, это результат его свободного выбора. Но отчего так же тягостно — пробиваться сквозь фантомный лес занятых собой личностей, непосильных аренд и налогов, отказов в помощи? Почему мы всегда попадаем в поле навязанных нам обязанностей, которые сушат душу? На смену пришло угнетение его как свободного частника.

Наверно, по нему — гуманитарная среда, более интеллектуальная и отзывчивая. Счастливы актеры, поэты, они любят тех, на кого работают — зрителей и читателей, а те — их. Там встречаются мимолетно, на духовных высотах, никто никому не должен, еще бы не любить друг друга. Но почему более тесное и длительное соприкосновение с живыми людьми, даже в той группе актеров, сразу усложняет задачу: встают монстры трудностей?

Счастливы творцы-одиночки, которые сами в себе носят коллектив! Подчиняющийся во всем — мозг пытается проникнуть в мерцающую истину, чувство возносит туда же, перо или компьютер преодолевает сопротивление сознания и угасание чувства. И в этой слаженной работе преодоления нет того, что озлобляет душу.

А ему, ведь, тоже хочется быть свободным художником. Всегда знал, что жил не в той среде, в которой хотел.

Бухгалтер пытался помочь.

— Это временно, я знаю. Могу пока без зарплаты.

Его слова вызвали раздражение. Что это? Ведь открыт всем, всех любит. «А ты, Ваня, поверь в себя, — фыркала секретарь Дора. — Ты же добрый, в тебе нет зла. Это привлекает. Только от твоего добра никому ни жарко, ни холодно».

— Бюджет не резиновый, — осторожно сказал бухгалтер. — Я как экономист говорю.

Заступничество бухгалтера только разозлило всех. Его не уважали. Мнения его никому не нужны. Из-за фатальной неточности в изложении знаний и фактов ему нет веры. Чтобы выразить невыразимое, ему приходится помогать руками. Он всячески угождал шефу лично и каждому в отдельности, искренно, из уважения и понимания, и очень робко заговаривал о повышении зарплаты. Хроническое нищенское существование в детстве, студенчестве, в институте осталось в нем неизгладимым отпечатком. Предложи ему быть царем, так он схватит сто рублей и убежит.

Дора его третирует. Вдруг набросилась на бухгалтера.

— Если пьете кофе, то не надо мусорить. И кладите банку с кофе на место, в шкаф для посуды. Дверцы, дверцы закрывайте!

Тот послушно выполняет ее команды, он выше обид.

Павлу кажется, что бухгалтер выражает беспечную суть его команды. Он стыдится неспособности к работе, вникать во что-либо, переживает в себе несчастья тонко и сложно, и — не знает, как выйти из ямы. Не замечает обид, между прочим, как и Павел. Только по сравнению с ним — святой: Павел потом спохватывается и, вдумавшись, начинает люто ненавидеть обидчика. Бух — чеховский персонаж. Трагическая фигура. «Да, трагическая, — усмехалась Дора. — Из-за непроходимой лени и упрямства. Не живет, а лежит, как Обломов». «Да, я как Обломов, — вскидывался бухгалтер. — Так я восстаю против, как бы... грубости жизни».

Наедине с Дорой Павел предупреждал: «Не надо так с нашим старым другом». Она удивлялась дружбе Павла с ним. На его возражения смеялась истерически: «Ха-ха-ха! Скучных нет... Ну и младенец же ты! Будь осторожен — у него психология предателя».

Сидя за компьютером, Павел оглядывается — никого, кроме Доры, все ушли на обед. Он растерян, как давно, во время «хождения в народ», когда его временно оформили учителем черчения, физкультуры и литературы в сельской школе. Это был пятый класс — сорок детей, переломный возраст. На его уроках они беспрерывно орали, дрались, хлопали партами и стреляли из трубок комочками жеваной бумаги, их ор отрезал только звонок на перемену. Короче, отыгрались на нем на всю оставшуюся жизнь. Еще тогда он понял, что не может руководить.

Дора разворачивает домашнюю пищу, требует, чтобы и Павел поел. Вдруг — у него, наверно, вымученно веселый вид — она жестко сказала:

— Не надо им уступать. Сказал — и все. И остерегайся новых сотрудников.

Павел молчал, но ее слова немного укрепили его.

Возможно ли разбудить этих людей? Разве что после приема эликсира. Здесь они попали в тень навязанных обязанностей, и в этой тени повернуты друг к другу отнюдь не солнечной стороной. На работе по трудовому договору иного не может быть. Общая цель для одних близко и интересно, для других — как скучное стояние в пробке на развилке. Это зависит от степени дистанции между трудом и смыслом.

Он чувствовал себя загнанным обстоятельствами в неприятное состояние нелюбви и злости. Неужели стал считать людей неучами с предрассудками? И народ не дорос, как утверждает Аркадий вместе с его оппозицией? Павел боялся этой мысли и успокаивал себя: народ прекрасен, в нем кладезь исторической мудрости, он создатель языка. Это святое — народ-богоносец. С ним у него не было проблем, тем более, народ не мог дать сдачи. А вот с живым населением, людьми, — сложнее.

Возможно ли быть совместимым с людьми? Людям не хочется напряжений. Невыносимая легкость бытия. Нет смысла искать, составлять свою библиотеку, систему в своем любимом деле и мыслях. Им это невдомек. Нет того, чтобы ночью возбудиться от внезапно нахлынувших догадок — выхода из затруднений.

Вошла Ундина, слегка виляющая, переборовшая себя.

— Дай зажигалку. Это новые мутят.

— Но наши «старики» поддерживают меня.

— Ты мягкий и доверчивый. Вот на тебе и воду возят. Хочу извиниться.

Павел сразу пожалел ее (перед красивыми женщинами он беспомощен), хотел сказать, что если будет эффективность, премию возместит. Но вспомнил, что у нее муж хорошо зарабатывает, и сама она прирабатывает психологом.

Они понимают друг друга, вернее, чувствуют родственность. Часто разговаривают, пряча во взглядах прежние влечения. Обычно она насмешлива: в жизни ничего не случится, впереди один конец. Ее профессия психолога, холодно анализирующего психику, убеждала в неизменности человеческой природы, в своей правоте. Дочь свою не старалась воспитывать, авось, что-нибудь да выйдет. Но никогда не говорила о муже, прозаическом бизнесмене, что-то ее останавливало. Наверно, она все еще была влюблена в Павла, неужели и сейчас он кажется кем-то необычным, исключением из ее представлений?

— Все будет о'кей, — соблазняет взглядом Ундина. — Кстати, прошу отгул на пятницу, по женской болезни.

У нее всегда по пятницам то головная боль, то женская болезнь. Удобный способ прибавить к выходным третий день.

- В пятницу зарплата, — говорит Павел мимоходом.

Она замялась. Чтобы повесить дисциплину, он накидывает на сотрудников как бы не зависящие от него «крючки», от которых им трудно увильнуть.

В конце дня Павел остался в кабинете с бухгалтером. Ему хотелось выплакаться. Открыл холодильник.

— А не снять ли нам стресс?

— Ты делаешь мне честь, — радостно откликнулся бух. — У тебя есть с кем пить, а ты со мной. Буду рад поговорить, посоветовать.

У Павла ни с кем нет такой легкости отношений, как с бухгалтером. С ним исчезает напряжение. Говорил, что хотел, и тот удивлялся его уму.

У того все больше проявляется какая-то генетическая поломка: трудно пробиться сквозь лень тела, не увлекаемого полетом, притушенного судьбой ли, богом. Может быть, природа не дала ему способностей, чтобы пробиваться? Или тут дело в состоянии телесном? Нам кажется кто-то ретроградом, равнодушным эгоистом, а человек не может, или просто устал. Не там ли основные мотивы нашего нежелания совершенствоваться, идти вперед? Это бывает и в Павле — то орлом летает, то не может пробиться туда, где совсем недавно летал.

Они говорили о взаимоотношениях в коллективе, Павел убеждал себя и его, что не мог поступить иначе, и как трудно удержаться в смете расходов. О странных осуществлениях задумок, как будто кто-то помогает ему. И какую встретил женщину с малахитовыми глазами.

Тот поддакивал, не обратив внимания на признание, приводил дополнительные доводы в пользу шефа, о которых тот не подозревал. И им было хорошо. Может быть, это лишь иллюзия полной взаимной открытости и доверия. Но Павел чувствовал в главбухе что-то родственное. Тоже настоящий «совок», изуродованный временем. Как и он, с людьми, особенно с теми, перед кем чувствует себя обязанным, делается фальшивым. В молодости он переживал от этого гораздо сильнее.

— Я тебя очень уважаю, — быстро ослабев от выпивки, открыто льстил бух. Глянул на руку шефа, и почудилось, что станет ее целовать. — Как ты можешь взваливать столько дел — на одного? А главное — выполнять все? Такая воля, знания, и связи!

И вдруг заплакал.

— Свершилось, меня не пустили домой. Семье стало не нужно даже мое добро, моя привязанность. Представляешь отчаяние, одиночество, когда не нужна даже любовь!

Это было неожиданно. Захотелось убежать от неприятного обнажения.

3. Пределы близости

Из окна слепит греющий свет. На Павла накатило. То, что жена называет дурью. Слепая детская радость, словно никогда не было боли и бед. Толчок счастья. И первая мысль — о Кате, волной свободы, уносит в иной, не сковывающий ритм. Ему кажется, что может легко перейти в иные ритмы — путешествий, открытий, творчества.

Кабинет-спальня — замкнутое пространство, почти стертое в сознании — от привычки, с письменным столом, заваленным книгами и компьютерным оборудованием, пестрыми книжными полками. На стене, над диваном, блюдо: коричнево-белое японское с тонким рисунком ветвей и райских птиц, раскрывающее бесконечное небо (подарок жены). Виртуальный прорыв в иные горизонты.

Это вся свобода, которая доступна. Свобода как бы без времени, и в ней уже не видно новых возможностей. Стал слишком зависим от привычной колеи — вне ее Павлу не по себе.

Выждав, когда он откроет глаза, к нему впрыгивает серебристый малый пуделек, член семьи. Зовут его Норуша (имя — в связи со знаменательным событием покупки жене норковой шубы), она же Нюся, Сюся, Сюня, и даже Пушкин (из-за бакенбардов). Павел целует ее в мокрый нос. Она переворачивается на спину — почесать живот. Следит лукавым, плутовским взглядом. Его поражает ее абсолютное доверие. Погружается в ее теплое розовое пузо в мелких твердых сосках, из вредности не целуя, а фыркая губами в нежную мякоть: фр-р-р! Она следит за его действиями с опаской, готовая вывернуться. Кажется, что она была всегда, как будто не приносил ее когда-то в подарок жене, в рукавице. Вот чистая, странная любовь, как бы изначальная — без боли и примесей тяжелых отношений.

В ванной Павел видит незнакомого в зеркале — худой, то с вдохновенным, то со страдальческим взглядом, как сейчас, уже с седыми волосками, всегда занятый руководитель фирмешки, над кем, наверно, посмеиваются окружающие. Что это за тип? Какое несоответствие его солнечного, и его неторопливого, но все еще с летящей походкой, с отточенной нарочитостью движений, выпрямляющего спину, подающего себя уже артистически, ощущая, что похож на идиота, ибо молодости нет, и надо заменять ее достоинством. Скрывает дату своего рождения, не отмечая даже юбилеи, чтобы в него, еще молодого, верили сотрудники, что он может (или дело в женщинах?). Он думает о жизненных циклах: в старости вырастают вторые зубы, происходит обновление. Может быть, возможно наступление второго рождения, обновление организма, только что-то засоряет этот пусковой механизм, и ученые откроют. И вдохновляется мыслью: поможет эликсир «Вита»!

Потом одевается. Что за черт! Наметился точно, а надевает все наоборот. Майку ли, трусы, рубашку. У него есть особенность: его действия часто приводят к обратному результату. Обычно одежду донашивает до конца. Ничего не выбрасывает, пытается приспособить. Возможно, скупость — это когда не терпишь исчезновения привычных вещей, перемен. После свадьбы она ежедневно властной рукой выкидывала в грязное вчерашние рубашки и нижнее белье, которые еще можно поносить.

- В аварию на машине попадешь — над тобой в морге смеяться будут: бомж в драном белье.

Это был ее любимый образ: если лежать в гробу — то в хорошем белье. Поэтому она не допускала драного или невыглаженного.

Она была из тех, кто заботится, а потом за это обижается.

- Ну, не заботься! — умолял он.

- Не могу, — упорствовала она.

Павел не мог поделиться с ней угнетающими мыслями о работе. Она очень тяжело воспринимала его неудачи. Его работа была ее незаживающей раной. Тем более не могла бы работать вместе.

Сейчас она перестала следить за ним, и от этого больно.

В спальне, видит он в раскрытую дверь, она садится к трюмо, мокрая и растрепанная после ванны, с ненадолго ожившим лицом. И без косметики у нее миловидное лицо, с плотно сжатыми губами, не умеющими открываться для поцелуя.

Они с женой давно одни, после того как не стало ребенка. Наверно, она хотела бы открыться, поплакать, но поняла, что он не может говорить, и замкнулась в себе. Не могла думать — сразу приливалась темная волна отчаяния.

Но он — та соломинка, за которую она еще держится.

* * *

Познакомились они случайно — в институте. Как-то, когда он уже работал в министерстве, она сказала:

- У нас будет ребенок.

Он не мог не жениться.

У ее подруги Галки смотрели на него с насмешкой. Что она в нем нашла, голозасом провинциале? Парадокс времен бескорыстного тоталитаризма.

После свадьбы кто-то позвонил, и она ответила отрывисто, что вышла замуж, вся в испарине.

- У тебя кто-то был?

- Да.

- И... как долго?

- Год.

- Год?!

Павел ушел из дома.

Грозная реальность уничтожила его чистоту. Его мечта о чистоте и невинности не могла ужиться с ужасной реальностью. Где чистота — та, что с детства хранил в себе, и опять приходится изменять себе. Неужели ее нет на земле? Зачем было его целомудрие (тогда не вспоминал, что до нее имел опыт с женщинами)? Отчего сдерживался, храня верность: или из опаски идти против совести, или еще по какой причине? Что это ему дало? Узость жизни, нереализованные комплексы. Взамен свободы, раскрытия всех сил.

С детства мечтал столкнуться с той, с кем они бы сразу узнали друг друга. Она будет такой невинной, единственной, домашней, с кем мог бы начать впервые.

Павел бродил где-то, воображая огромного мужика с ней наедине, терзаясь ревностью. Ревность - это глубочайшая горечь неосуществленной судьбы.

Увидел ее во дворе босиком, оказывается, бродил около дома. Она повисла на нем в слезах.

- Тогда тебя не было, я тебя не знала!

- Но ты любила... другого. И, наверно, не можешь забыть.

Она молча плакала, дрожа от холода.

Любил ли он ее? Отчего же такая острая горечь? Разбита жизнь! Словно изменила, и теперь уже ничего не поправишь. Не может отделить ее прошлое от настоящего. А ведь она может, как и он сам забывал свои измены до их знакомства.

И он вернулся. Это был перелом к омертвлению души — становился обычным взрослым человеком.

Измены — из ощущения временности. Был не прочь изменить ей, заглядывался на красивых — от них чувство, что жизнь хороша, и можно всех любить, и некрасивых жалел, особенно староватых, обнажающих только молодо выглядящие места тела. Сравнивал ее с другими, мог запросто уйти, не было страшно — впереди были многие.

* * *

Случайно встреченная женщина вошла в личное пространство Павла, вернее он в ее пространство, вместе с ее квартирой, и остался там, может быть, на всю жизнь. Это была обычная семья: муж, жена и ребенок. Больше детей тогда не могли позволить. Ей, недавно романтической студентке, любившей шестидесятников, после свадьбы стало не до того. Время отвело им накатанный путь: заботы о ребенке, нехваток из-за нищенской зарплаты, хотя она тоже работала в издательстве. Но они не замечали нищества — такова природа молодости. И относительности. На каждом уровне времени — словно так и надо. Правда, сейчас относительность пропала: хочется проглотить больше, выскочить из времени.

Сквозь благодный туман постоянной радости Павел стал замечать, что они с женой разные. Антиподы. Она из старомосковской семьи. Его же провинциальная среда детства породила таким, какой есть, наверно, несовместимым с ней.

Есть люди, выращенные, как в оранжерее, в культурных семьях нескольких поколений, как жена, а есть такие, как он, болтавшиеся на краю света провинциалы, в стороне от центра культуры.

Павел сильно подозревал, что он из той породы, которая была обделена плодами цивилизации. Или вообще казался огрызком естественного отбора в борьбе видов (отсутствие ясной цели, мелькания фантастических догадок из «культуры незнания» дикарей, которые тут же забываются, провалы бесчувствия, неспособность быть успешным, испуганное подстраивание под насилие, короче, аура неудачника).

И был уверен, что выросшие в провинции, как дикая трава, природы, не ведающие об иной, более сложной культуре, консервативны и гораздо труднее поддаются развитию. Но в нем-то было заложено главное — следовать глубинному направлению своей жизненной энергии, подлинным потребностям, а не тому, что вбивает педагогика, то есть только внешняя сила. По капле выдавливать из себя раба. Здесь тайна подлинного воспитания. Только совпадение необходимого с внутренним влечением. Главное — самопознание. Он не из тех, кто может смириться со своим духовным уродством. Это дает преимущество перед бездумно эксплуатирующими жизнь.

Правда, он сильно сгладил разницу, обтесавшись в среде нового окружения.

У жены проступал характер ее матери-одиночки с густыми хмурыми бровями и усами, суровой коммунистки, в конце жизни ставшей такой же суровой диссиденткой. Она тяготела к норме. При встречах с родственниками неприлично было говорить о работе, жаловаться, хвастаться и т. п., и он благодушно уступал ей во всем. Начиналось это с ожидания встречи. Он ждал с тревогой, что придется притворяться. Так оно и выходило. Они входили, и он делал стойку. Обычно в стойке — не знаешь точно, куда деть руки, забываешь правила политеса. Поэтому забывал раздеть дам. Чувствуя молчание жены, сам молчал, или говорил невпопад. Потом начинал ненавидеть себя, и его прорывало — говорил, что думал. Высказывал нелепые вещи, как провинциал у Шукшина (странно, в других компаниях, без жены, не думал о самоконтроле и говорил нормально, даже умно). Она смеялась над его нелепостью: выставляешь себя перед родственниками провинциальным дураком! И по сей день память об этом не дает ему быть естественным с другими в ее присутствии. В гостях он был как бы обязанным хозяевам, да еще бесплатно угощаясь. До сих пор остались следы давнего, после свадьбы, комплекса — под бдительным оком жены он был с ними сам не свой.

Чем она его привязала? Не зависящим от времени, вечно истинным в ее нормальности, неумолимым, чем-то, что не переделать. И скрытой ревностью, когда воображал, что она может изменить. И хотелось плакать.

Они постоянно боролись.

— Твоя позиция в жизни ясна, — самоуверенно говорил Павел. — Хочешь всю жизнь прожить, спрятав голову под крыло твоих норм. А если я так не могу? Я должен решить что-то в моей судьбе.

Она насмешливо отзывалась:

— Дело не в норме. Не путай приличия и судьбу. Надо знать — что, с кем и когда. А ты раскрываешься перед всеми. И не говори, как проситель. Не объясняй подробно, почему задерживаешься.

— А почему перед той стороной не встает этот вопрос? — добродушно спрашивал он. — Почему должен подлаживаться под них?

— Они другие. Не такие, как ты. Надо держать дистанцию.

— От твоей дистанции холодно.

— Ты должен хотя бы молчать в знак несогласия.

— Не могу молчать! — изрекал он.

— Знаешь пословицу: не мечи бисер...

— С этим, пожалуй, соглашусь.

— Кроме того, не умеешь говорить. Залезаешь в какие-то дебри, которые не умеешь выразить.

— Говорит без запинки тот, кто мыслит шаблонно.

— Тот, кто говорит просто, — глубже других.

— Я высокопарен, когда не могу объяснить нечто. Есть вещи необъяснимые.

— Тогда нечего объяснять. Твой философ Витгенштейн сказал: «Чего нельзя сформулировать в слове, о том следует молчать».

Это был удар под дых — его читаемым тогда философом. Формулировать необъяснимое, значит соврать. В ее стремлении к приличиям, норме есть что-то более глубокое: сдержанность перед тайной чужой личности. Наверно, она не любила в нем фальшь открытости, похожую на разгильдяйство.

Перед ее умственным взором всегда стоял образ идеального мужа, умного, честного и чуткого, не мальчишки, унижающего себя несдержанностью, — обычно из среды знакомых.

— Вот он бы не сделал этого.

Икона висела недолго — идеальный муж совершал нечто недостойное: изменял жене, запивал, разводился. Павел торжествовал. Но уже появлялась новая икона.

— Вот он бы...

Тот проваливался, и он снова неколебимо воскресал.

Позже образы чужих идеальных мужей, подобные Дориану Грею перед его идеальным портретом, померкли. Наверное, Павел вырос в ее глазах.

Что он мог дать, если сам не успокоен? Может быть, хотел отторжения? Для новой любви? Иногда ему казалось, что жена — обуза, всю жизнь мешала творческому порыву, встречам с другими женщинами. Если бы не она, его жизнь повернулась бы по-другому: не было бы ее глубочайшего неверия в его дело из-за ее феноменальной трезвости, что всегда оставляло второстепенным то, что для него было главным. Возможно, обнищал бы, но зато стал самим собой, свободным в выборе, прожил бы так, как всегда хотел жить.

Но чувствовал, что ее практическая философия гораздо значительнее его абстракций, и какой-то душевный забор мешает принять ее. В результате стал подкаблучником, послушным во всем. И вот что странно: это так удобно и комфортно, что другой жизни не хотел. Наверно, так личинка благоденствует в своем коконе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.